

ДЕТЕКТИВ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ

РУТ УЭЙР



ИГРА

ВЛОЖЬ

от автора супербестселлеров
«В ТЕМНОМ-ТЕМНОМ ЛЕСУ» и «ДЕВУШКА ИЗ КАЮТЫ №10»

Психологический триллер (АСТ)

Рут Уэйр

Игра в ложь

«АСТ»

2017

УДК 821.111-312.4
ББК 84(4Вел)-44

Уэйр Р.

Игра в ложь / Р. Уэйр — «АСТ», 2017 — (Психологический триллер (АСТ))

ISBN 978-5-17-982370-4

Однажды Айса и ее подруги Тея и Фатима получают смс-сообщение от четвертой из их компании – Кейт. Всего три слова: «Вы мне нужны»... И так уже было однажды, семнадцать лет назад, когда при загадочных обстоятельствах погиб отец Кейт, известный художник Амброуз Эйтагон... Но что могло произойти на этот раз? Четыре лучшие подруги, всегда неразлучные, но снискавшие в школе сомнительную славу благодаря своей «игре в ложь» – легкомысленной забаве, главное правило которой – лгать всем и никогда не лгать друг другу!.. Спустя много лет девушки вынуждены снова собраться в Солтене, где прошли их школьные годы, чтобы понять – главное правило их игры было нарушено. И ставка в этой игре на сей день может оказаться слишком высока...

УДК 821.111-312.4
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-982370-4

© Уэйр Р., 2017
© АСТ, 2017

Содержание

Правило первое: лги	6
Правило второе: стой на своем	40
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Рут Уэйр

Игра в ложь

© Ruth Ware, 2017

© Школа перевода В. Баканова, 2018

© AST Publishers, 2018

* * *

Дорогой Хелен, с огромной любовью

Этим утром вода в Риче на удивление тихая, бледно-голубое небо располосовано розоватыми, с перламутровым отливом облачками, море на отмели немного рябит под легким бризом, и поэтому собачий лай кажется чередой ружейных залпов. Вспугнутые чайки с воплями кружат над водой.

Зуйки и крачки вспархивают при приближении пса; тот, совершенно счастливый, мчится к реке, буксует в дюнах, щетинящихся острой травой, вырывается на прибрежную полосу, бурую от водорослей. Здесь морские горько-соленые воды встречаются с пресными водами Рича. В отдалении, подобно часовому, замерла, словно нарисованная тушью на прохладном утреннем небосклоне, приливная водяная мельница – единственный рукотворный объект в окрестностях, медленно и неумолимо поглощаемый морем.

– Боб!

Восторженный лай прерван женским голосом. Женщина, тяжело дыша, пытается поспеть за собакой и кричит на бегу:

– Боб! Ах ты, зверюга! Фу! Фу, я сказала! Что ты опять выкопал?

Пес между тем силится вытянуть из сырой глинистой почвы нечто, им обнаруженное.

– Ну получишь ты у меня! Фу! Фу! Что там еще? Надеюсь, не очереднаядохлая овца?

Собака делает последний героический рывок, по инерции почти опрокидывается, бежит, взбирается на дюну и с победным видом кладет находку к ногам хозяйки. Женщина застывает в ужасе. Собачьи бока ходят ходуном, высунутый язык розовый и мокрый. Безмолвие, подобно приливу, наступает на дюны, воцаряясь в утреннем мире.

Правило первое: лги

Едва слышное жужжание, уведомляющее о сообщении, не тревожит спящего Оуэна. Оно не потревожило бы и меня, если бы я спала. Но я бодрствовала. Я лежала, уставившись в темноту, придерживая младенца у груди. Моя дочь уже насытилась, но медлила выпустить сосок. Она дремала и посапывала. Несколько секунд я раздумывала, кто бы это мог среди ночи прислать сообщение. Все мои друзья спят... разве что Милли уже встала и собирается на работу... Все равно не вижу повода для сообщения. Правда, я обещала забрать Ноя, если родители Милли не успеют приехать из Девона до того, как она уйдет на работу. Неужели все-таки Милли? До телефона не дотянуться; я колеблюсь, наконец пальцем раскрываю маленькие цепкие челюсти, переворачиваю на спинку дитя – налитое теплым молоком, закатывающее сонные глазки, словно под молочным кайфом. Мгновение смотрю в маленькое личико, касаюсь гладкого, упругого тельца. Под моей ладонью, за птичьими ребрышками, сердечко постукивает все ровнее, все размереннее. Только теперь я беру телефон. Мое сердце начинает биться чуть чаще, эхом отзываясь на удары крохотного сердечка.

Глядя на экран, говорю себе: не глупи, Милли еще месяц носить, наверняка это спам, очередное «А вы уже потребовали возврата страховых взносов?».

Ввожу пин-код, телефон разблокирован. Сообщение не от Милли. В нем всего три слова: *Вы мне нужны.*

Часы показывают половину четвертого. Сна ни в одном глазу, мои ступни холодит кафельная плитка кухонного пола, я грызу ногти и пытаюсь справиться с желанием закурить. Десять лет я не брала в руки сигареты, но, когда мне страшно или тревожно, мысль о никотине вытесняет прочие мысли и потребности.

Вы мне нужны.

Незачем спрашивать, что это значит и кто это написал, хотя на экране только номер, без имени.

Это написала Кейт.

Кейт Эйтагон.

Достаточно произнести ее имя – и она передо мной во плоти. Запах мыла, оливковая кожа, россыпь веснушек – будто молотую корицу распылили по переносице. Кейт. Фатима. Тея. И я сама.

Закрываю глаза и вижу всех; мобильник, теплый после моих рук, болтается в кармане, ожидая новых сообщений.

Фатима сейчас спит рядом с Али, защищенная его гибким телом. Ей сообщение придет примерно в шесть – в это время Фатима просыпается, чтобы приготовить завтрак Надии и Самиру и собрать их в школу.

Насчет Теи сказать сложнее. Если сегодня ее смена, она сейчас в казино, где сотрудникам нельзя пользоваться телефонами. Мобильники заперты в шкафчиках для одежды. Когда заканчивается смена? Часов в восемь, не раньше. Тея, как правило, задерживается – у них заведено выпивать после смены. Ответ придет ближе к девяти от Теи, взбудораженной алкоголем, чаевыми, понтерами, рябью цифр на фишках, вычислением шулеров и профессиональных игроков.

Наконец, Кейт. Кейт уж точно не спит – это ведь она прислала сообщение. Наверняка она сейчас за отцовским рабочим столом – теперь это ее стол. Он стоит у окна, откуда виден Рич. На глазах у Кейт вода приобретает бледно-серый предрассветный оттенок, все четче становятся отражения облаков и мельницы. Пальцы, как всегда, мнут сигарету. Взгляд устремлен на воды

в устье реки – бурлящие, то наступающие, то отступающие. Картинка не меняется годами – и в то же время меняется каждое мгновение, совсем как сама Кейт.

Ее длинные волосы убраны за уши, тонкое лицо полностью открыто, в том числе и гусиные лапки в уголках глаз – неизбежный отпечаток всей жизни, всех тридцати двух лет, проведенных на морском ветру. Пальцы в пятнах масляной краски, забравшейся глубоко под ногти. А глаза – глаза у нее сейчас самого темного грифельно-синего тона и так глубоки, что дна не разглядеть. Кейт ждет, когда мы ответим. «Когда», а не «как» – потому что на сообщение из трех слов мы всегда отвечаем двумя словами, четко:

Уже бегу.

Уже бегу.

Уже бегу.

– Уже бегу! – кричу я снизу в ответ на призывы Оуэна, которые заглушают сонное хныканье Фрейи.

Оуэна я застаю с Фрейей на руках, ходящим взад-вперед, помятым, с отпечатком подушки на красной щеке.

– Извини, – Оуэн подавляет зевок. – Попытался укачать ее, но ты же знаешь, какая она, когда есть хочет.

Забираюсь обратно в постель, усаживаюсь, обложившись подушками. Оуэн подает мне Фрейю – возмущенную, покрасневшую. Она поднимает оскорбленный взгляд и с удовлетворенным вздохом припадает к соску. Воцаряется тишина, слышно только, как жадно малышка тянет молоко. Оуэн снова зевает, проводит рукой по волосам, косится на циферблат, берет трусы.

– Уже собираешься? – В моем голосе удивление.

Оуэн кивает:

– Ну да. Какой смысл снова ложиться, если в семь все равно вставать? Ненавижу понедельники.

Смотрю на часы. Шесть утра. Я думала, меньше. Потеряла счет времени.

– А кстати, ты-то чего ни свет ни заря вскочила? Мусоровоз разбудил, да?

Я качаю головой:

– Просто не спалось.

Это ложь. Я почти забыла, какова она на вкус, как легко она соскальзывает с языка, как сильно после нее мутит. Тяжелый, теплый от рук телефон лежит в кармане халата, я его чувствую бедром. Жду, когда он завибрирует, принимая сообщение.

– Понятно.

Оуэн подавляет очередной зевок, застегивает рубашку.

– Кофе будешь? Могу и на тебя сварить.

– Да, пожалуйста, – отвечаю я и добавляю: – Оуэн...

Но он успел выйти и меня не слышит. Через десять минут он появляется на пороге с чашкой кофе. Десять минут – достаточное время, чтобы обдумать, что сказать, и как это преподнести, и отрепетировать тон необходимой степени беззаботности. И все-таки я вынуждена сначала сглотнуть, затем облизнуть губы, пересохшие от напряжения.

– Оуэн, вчера Кейт прислала мне сообщение.

– Кейт, с которой ты работаешь?

Он ставит чашку несколько резче, чем следовало, немного кофе проливается. Вытираю лужицу краем халата – чтобы книга не промокла и чтобы выгадать время.

– Нет. Кейт Эйтагон, с которой я в одной школе училась.

– А, эта Кейт! Та самая, что на свадьбу с собакой приехала?

– Да. Собаку зовут Верный.

Верный. Белая немецкая овчарка с черной мордой и темными, как сажа, крапинами вдоль хребта. Верный имеет привычку дежурить в дверном проеме, он рычит на чужих, а своим подставляет белоснежное брюхо, чтобы чесали.

– Ты получила сообщение. Что дальше? – напоминает Оуэн.

Выходит, я замолчала, сама того не сознавая. Потеряла нить.

– А, ну да. Кейт приглашает меня в гости. И я подумала: почему нет?

– Действительно. Тебе развеяться не помешает. Когда едешь?

– Вообще-то сейчас. Зачем тянуть?

– А как же Фрейя?

– Она поедет со мной.

Чуть не добавила «разумеется», вовремя спохватилась. Фрейя до сих пор не приемлет никакого питания, кроме материнского молока; а я очень старалась ее перевести, и Оуэн тоже. Помню, меня пригласили на вечеринку – так Фрейя подняла крик в полвосьмого и ни на минуту не умолкала до без двух полночь, когда я ворвалась в квартиру и приняла ее из рук мужа, уставших от бесконечного укачивания.

Снова повисает молчание. Фрейя откидывает головку, изучает мое лицо, хмурится, отрывается и возвращается к серьезнейшему из занятий – добыче пропитания. На лбу Оуэна написаны все его мысли: он будет скучать, один, совсем один в постели...

– Тогда я пока займусь ремонтом в детской, – наконец выдавливает Оуэн.

Киваю, хотя Оуэн сейчас поставил точку в давнем споре. Ему хочется, чтобы спальня принадлежала нам двоим, а я – только ему. Он полагает, что полугодовая Фрейя сможет спать в детской без постоянного присмотра. А я... я не согласна. Отчасти поэтому я до сих пор не нашла времени вынести вещи из гостевой комнаты и покрасить стены в какой-нибудь позитивный, подходящий для младенцев цвет.

– Конечно, – говорю я.

– Значит, решено, – заключает Оуэн и принимается перебирать свои галстуки. Спрашивает, не оборачиваясь: – Тебе машина нужна?

– Нет, на поезде доберусь. Кейт меня встретит.

– Уверена? Ты детские вещи в поезде потащишь? Это неудобно. Посмотри: пойдет?

– Что?

С минуту я не могу понять, о чем Оуэн говорит. Потом соображаю – о галстук.

– Да, неплохо. Нет, правда, я отлично доеду поездом. Так проще. Если Фрейя проснется, я смогу без проблем ее покормить. А вещи сложу в коляску.

Оуэн не отвечает. Понятно: прокручивает в уме предстоящий день. Я тоже так делала еще несколько месяцев назад – сейчас кажется, что с тех пор прошла целая жизнь.

– Так я бы прямо сегодня поехала. Ты не против?

– Сегодня?

Он берет из комода горсть монет, бросает в карман и подходит к кровати, чтобы поцеловать меня в темечко.

– А к чему такая спешка?

– Нет никакой спешки, – лгу я.

Щеки вспыхивают. Ненавижу лгать. Когда-то я считала ложь забавой – до тех пор, пока ложь не стала единственным выбором. Сейчас я редко об этом думаю, может, потому, что мысли о лжи и так съели уйму времени. Но они никуда не делись. Они – словно зуб, который то ноет без перерыва, то внезапно начинает болеть.

А самое гадкое – лгать Оуэну. До сих пор мне удавалось его не впутывать, однако теперь и он влип. Теперь и он в паутине. Сообщение Кейт не удалено, и из него будто течет яд, грозя уничтожить все, все вокруг.

– Просто у Кейт сейчас перерыв – один проект закончила, к другому еще не приступила. Не будет отвлекаться. А я... мне через несколько месяцев на работу. Попробуй тогда вырвись.

– Ладно.

Оуэн озадачен, но от подозрений далек.

– В таком случае надо тебя поцеловать по-настоящему, как положено.

И он меня целует – как положено, в губы, чтобы я вспомнила, за что люблю его и почему ненавижу ему лгать. Затем отстраняется, прижимается губами к лобику Фрейи. Она недоверчиво смотрит на него и на миг перестает сосать, но возобновляет свое занятие с непоколебимой решимостью, от которой меня неизменно накрывает волна обожания.

– И тебя, вампиреныш, я тоже очень люблю, – с чувством говорит Оуэн. Следующая фраза адресована мне: – Сколько туда ехать?

– Часа четыре. Смотря на какой пригородный успею.

– Понятно. Что ж, желаю хорошо провести время. Напиши, как доберешься. Сколько думаешь погостить?

– Несколько дней?

Предположение рискованное, и я добавляю:

– Вернусь к выходным.

Новая ложь. Я не знаю, когда вернусь. Не могу сказать даже приблизительно. Пробуду столько, сколько потребуется Кейт.

– По обстановке, Оуэн.

– Ладно, – повторяет он. – Я тебя люблю.

– И я тебя.

Наконец-то можно ему не лгать.

День знакомства с Кейт я помню до часа, до минуты. Стоял сентябрь. Я ждала ранний поезд до Солтена, хотела приехать в школу к ланчу.

– Можно спросить?

Мой голос, звенящий от напряжения, прозвучал на пустом перроне неожиданно резко. Девчонка, к которой я обращалась, повернула голову. Очень высокая, невероятно красивая, с вытянутым, слегка надменным лицом, она будто сошла с полотна Модильяни. Черные волосы, вызолоченные на кончиках, спускались до самой талии, на джинсах красовались дыры выше колен.

– Спрашивай, – разрешила она.

– Этот поезд идет в Солтен? – выдохнула я.

Последовал оценивающий взгляд, вобрал в себя солтенскую школьную форму – темно-синюю, хрустящую от новизны, юбку, блейзер без единого пятнышка, лишь утром впервые снятый с «плечиков».

– А я откуда знаю? – ответила красавица вопросом на вопрос и обратилась к своей подруге: – Кейт, это солтенский поезд?

– Хорош выпендриваться, Тея, – хрипло сказала та, которую назвали Кейт.

Голос не сочетался с внешним видом – ей было лет шестнадцать, от силы семнадцать, а по голосу казалось гораздо больше. Светло-каштановые волосы, подстриженные очень коротко, обрамляли смуглое лицо с веснушками цвета мускатного ореха – от улыбки в мой адрес эти веснушки так и запрыгали на носу. Кейт продолжила:

– Да, это солтенский поезд. Главное – сесть в нужный вагон, а то на Гемптон-Ли полпоезда отцепят.

Обе развернулись и пошли прочь, успев удалиться на приличное расстояние, когда я спохватилась – я же не спросила, какую именно половину поезда отцепляют.

Взгляд бегаёт по доске объявлений. «Пассажирам, следующим до Солтена, надлежит занимать места в первых семи вагонах». Но откуда они считаются? Которые семь – первые? Те, что ближе к пункту контроля, или те, что будут первыми по ходу движения? Как назло, поблизости не было ни одного человека в железнодорожной форме, а до отправления, судя по вокзальным часам, оставались считанные минуты. Я решилась бежать к дальнему концу поезда, вслед за этими девчонками. С трудом втащила по лесенке свой здоровенный чемодан, оказалась в купе. Шесть мест, все свободные.

Не успела я захлопнуть дверь, как раздался свисток. С отвратительным ощущением, что перепутала вагоны, я опустилась на диванчик. До сих пор отлично помню, как обивка сиденья покалывала ноги. Лязгая, дребезжа и скрежеща, поезд потащился из-под темных сводов вокзала, и солнце залило купе с такой внезапностью, что ослепило меня. Я откинулась на подголовник и зажмурилась. По мере того, как поезд набирал скорость, мое воображение все четче рисовало ужасную картину: вагон не тот, я не доеду до Солтена, директриса напрасно будет ждать меня на перроне. Что, если меня завезут в Брайтон, или в Кентербери, или еще куда? Или хуже: что, если моя жизнь, подобно этому поезду, разделится надвое, каждая половина станет развиваться по-своему, и обе будут страшно далеки от первоначальных планов природы на мое становление?

– Привет!

Я подпрыгнула и открыла глаза.

– А ты все же едешь!

Голос принадлежал Тее – высокой девчонке с перрона. Тея стояла, прислонившись к деревянному дверному наличнику, вертя сигарету в пальцах.

– Еду, – процедила я. Эта девица и ее подруга могли бы и объяснить насчет поезда. – По крайней мере, надеюсь доехать. Это ведь правильный вагон? До Солтена довезет?

– Да, – лаконично бросила Тея.

Снова оглядела меня с ног до головы, постучала незажженной сигаретой по дверному косяку и произнесла тоном доброжелательницы:

– Не сочти меня стервой, но запомни: садиться в поезд в школьной форме – не принято.

– Что?

– Мы всегда переодеваемся на станции Гемптон-Ли. Это... это негласное правило. Знать нелишне. Только первоклассницы и новенькие лезут в поезд в форме. Поэтому их сразу видно.

– Значит... значит, ты тоже учишься в Солтене?

– Ну да. В наказание за грехи.

– Нашу Тею выгнали из трех школ, – пояснила стриженная Кейт, возникшая из глубин коридора с двумя чашками чаю. – И не берут никуда, кроме Солтена. Ей светит остаться недоучкой.

– По крайней мере, меня не из милости в школе держат, как некоторых, – бросила Тея, но по ее тону я поняла: они подруги, а что до колкостей – для них это норма.

– Отец Кейт у нас рисование ведет, – продолжала Тея. – В контракте у него оговорено бесплатное обучение для дочери.

– Сытый голодного не поймет. – Кейт улыбнулась и подмигнула мне. – Тея в сорочке родилась.

Они переглянулись, и результатом этого молчаливого совещания стал вопрос Теи:

– Как тебя зовут?

– Айса, – ответила я.

– Вот что, Айса. Поедем вместе, хочешь? – Тея вскинула бровь и добавила: – Мы с Кейт заняли купе ближе к проводнику. Присоединяйся.

Я сделала глубокий вдох, словно перед прыжком с трамплина. Кивнула, подхватила чемодан, потащила его вслед за Теей, не догадываясь, что переход в соседнее купе навсегда изменит мою жизнь.

Странно вновь оказаться на вокзале Виктория. В Солтен теперь ходит новый поезд с плацкартными вагонами. Двери открываются автоматически – не то что в допотопном составе, который возил нас семнадцать лет назад. Зато перрон почти не изменился. Внезапно понимаю: все эти годы я бессознательно избегала и вокзала, и того, что было связано с Солтеном.

В одной руке удерживая стакан с кофе, другой вталкиваю коляску в вагон, ставлю стаканчик на свободный столик и начинаю привычную борьбу с заклепками и застежками, которыми к коляске крепится багаж. Слава богу, поезд полупустой, никто не стоит над душой, дожидаясь, пока я разберусь со своими вещами, не торопит. Под звук свистка дежурного, одновременно с мягким толчком, с легким «уф», которое испускает конструкция, трогаясь с места, мне подается последний ремешок, и вот у меня в руках почти невесомая колыбель. Осторожно помещаю спящую Фрейю подальше от столика с кофе.

Все-таки забираю горячий стакан, прежде чем продолжить распаковку вещей. В голове крутятся ужасные картины: резкая остановка, кипятик, пролившийся на мою девочку... Понимаю: этого быть не может, Фрейя спит по другую сторону прохода. Но такова моя послеродовая реальность. Такой я стала. Мои прежние страхи – насчет разламывающегося напололам поезда, заклинивших дверей лифта, таксистов-маньяков и просто маньяков – я перенесла на Фрейю.

Наконец, мы обе устроились с комфортом – я раскрыла книгу, потягиваю кофе; Фрейя спит, по самые щечки укрытая одеяльцем. В свете июньского полдня у нее просто ангельское личико. Кожа такая тонкая, такая чистая, что меня захлестывает волна любви, и мне больно, как если бы кофе вдруг пролился прямо на сердце. Целый миг я – только мать Фрейи и никто больше, и мы с ней одни в этом летнем свете, в этой любви.

В следующий миг я понимаю: жужжит телефон.

На экране высвечивается «Фатима Чодхри». Сердце подпрыгивает.

Руки дрожат. Нажимаю «Прочесть».

Буду обязательно. Приеду на машине, когда уложу детей. Ждите к 9–10 вечера.

Значит, началось. Тея пока не написала, но я не сомневаюсь: напишет. Чары растворились, иллюзию, что мы с Фрейей просто едем на денек к морю, унесло ветром. Я вспоминаю, зачем я в этом поезде. Вспоминаю, что мы натворили.

В 12.05 выехала с Виктории – такое сообщение я им отправляю. Кейт пишу отдельно: *Встретись меня?*

Ответа нет, но я знаю: Кейт не подведет. Закрываю глаза. Кладу ладонь Фрейе на животик, хочу удостовериться, что она рядом. Пытаюсь уснуть.

Просыпаюсь в ужасе. Грохот, лязг, треск. Крушение поезда. Первый порыв – схватить Фрейю. С минуту не могу понять, что меня разбудило. Потом соображаю: мы на Гемптон-Ли, там, где всегда происходит отцепка состава. Фрейя хнычет, возмущенная, но еще есть надежда ее укачать. Следует второй рывок, сильнее и резче первого, и Фрейя открывает глазки, кривит личико и ударяется в слезы.

– Тише, тише, маленькая.

Склоняюсь над ней, воркую, беру ее на руки, теплую, достаю из кокона пеленок, из скопища игрушек.

– Все хорошо, плюшечка моя сладкая, все хорошо. Тише.

Глаза у Фрейи темные от возмущения, личико сердитое. Фрейя бодает меня в грудь. Привычно расстегиваю блузку. Процесс кормления в первую секунду потрясает, шокирует – впрочем, как всегда.

Фрейя жадно тянет молоко, и тут, под последний рывок, под заключительный лязг, под свист дежурного, перрон подается назад, плывет, уступая место ограждениям, затем – домам, наконец, полям с телеграфными столбами.

Все настолько знакомо, что сердце замирает. Вот Лондон меняется беспрестанно, сколько я его помню. Он вроде Фрейи – каждый день новый. Тут магазин открылся, там паб закрылся. Вчера еще не было «Огурца» – смотришь, уже стоит; то же самое с «Осколком»¹. На пустыре появился супермаркет, жилые дома растут как грибы – за одну ночь, вырываясь то из топкой почвы, то прямо из бетона.

Дорога в Солтен – все та же.

Обугленный вяз.

Едва видное, замшелое сооружение времен Второй мировой.

Хлипкий мост – звуки, производимые катящимся по нему составом, создают полное ощущение, что висишь над пропастью.

Достаточно закрыть глаза – и я снова в одном купе с Кейт и Теей. Хихикая, обе надевают через головы форменные юбки, натягивают их прямо на джинсы; застегивают блузки, повязывают галстуки, не сняв маек. Помню, как Тея стала надевать чулки – бережно раскатывала чулок на своей бесконечной ноге, возилась с застегками под школьной юбкой. Вогнала меня в краску, сверкнув голым бедром. Я тогда сразу отвернулась, стала смотреть на пшеничное поле. Сердце колотилось, а Тея лишь усмехалась моей стыдливости.

– Пошевеливайся, Тея, – сказала Кейт. Впрочем, даже в ее голосе слышалась лень. Она уже успела одеться и запихнуть в чемодан джинсы с ботинками. – К Уэстриджу подъезжаем, там всегда садятся толпы курортников. Не хватало какому-нибудь старперу инфаркт получить.

Тея высунула язык и продолжила не спеша пристегивать пояс для чулок. Лишь когда поезд остановился на станции в Уэстридже, Тея наконец-то оправила юбку.

На платформе и впрямь ожидало немало туристов. Тея поморщилась. Поезд встал так, что напротив нашего купе оказалось семейство – мать, отец и мальчик лет шести, с ведерком и совком в одной ручонке и капающим мороженым в другой.

– Еще трое поместятся? – бодро поинтересовался отец семейства, распахнув нашу дверь. За ним ввалились жена и сын. В купе сразу стало ужасно тесно.

– Видите ли, в чем дело, – скорбным тоном заговорила Тея, – мы бы и рады ехать с вами, но наша подруга... – Тея указала на меня, – ...ее, понимаете, на сегодня отпустили из колонии. На один день, чтобы посетить особые занятия в школе. Так вот, одно из условий – запрет на контакты с малолетними детьми. Судья на этом особо настаивал, а он лучше знает.

Мужчина заморгал, его жена издала нервный смешок. Мальчик не слушал – был занят сбором кусочков шоколадной глазури с переда футболки.

– Мы о вашем же сыне заботимся, – серьезно продолжала Тея. – Ну и, конечно, вовсе не хотим, чтобы Ариадна загремела в карцер.

– Рядом есть свободное купе, – добавила Кейт.

Я заметила: она изо всех сил старается не рассмеяться.

Тея поднялась, открыла дверь.

– Извините. Нам ужасно неловко. Мы просто не хотим проблем – ни себе, ни вам.

Мужчина окинул нас подозрительным взглядом и подтолкнул к двери жену и сына.

Едва они шагнули в коридор, Тея перестала сдерживаться. Пожалуй, семейство курортников успело расслышать ее смех – дверь-то не мгновенно захлопнулась. Кейт, однако, покачала головой.

¹ Разговорные названия небоскребов. «Огурец», он же «Корнишон» – сорокаэтажная башня «Мэри-Экс, 30» из зеленоватого стекла; «Осколок» – самое высокое здание в Европе (310 м), пирамида в 72 этажа с офисными и жилыми помещениями. – *Здесь и далее примеч. пер.*

– Незачет, Тея. Они тебе не поверили.

– Да ладно!

Из кармана школьного блейзера Тея извлекла пачку сигарет, прикурила и глубоко затянулась, несмотря на то, что на окне висела табличка «Курить запрещено».

– Главное, что убрались.

– Они, Тея, убрались, потому что приняли тебя за сумасшедшую. Говорю: незачет.

– Это... это у вас игра такая? – спросила я.

Пауза повисла надолго. Тея и Кейт уставились друг на друга, как на сеансе телепатии. Решали, что ответить. Я почти видела, как между ними искрит воздух. Наконец Кейт улыбнулась – уголком рта. Подалась ко мне, оказалась настолько близко, что в ее серо-синих глазах стали видны темные прожилки.

– Это не просто игра. Это наша с Теей игра. Называется – игра в ложь.

Игра в ложь.

Воспоминания шокируют внезапностью – как запах моря, как вопли чаек над Ричем. А ведь я практически вытеснила их, практически сумела изгладить из памяти расчерченный лист бумаги, что висел у Кейт над кроватью, весь испещренный какими-то иероглифами, которые служили для сложнейшей системы накопления баллов. Это – за новую жертву. Это – за полную правдоподобность. Дополнительные баллы за продуманные детали, за одурачивание тех, кто однажды уже обвинил тебя во лжи. В известном смысле я до сих пор играю в это, не задумываясь. Играю беспрестанно.

Со вздохом смотрю на умиротворенное, довольное личико Фрейи. Фрейя тянет молоко, Фрейя занята, поглощена полностью. Смогу ли я это сделать? Смогу ли вернуться? Я не знаю.

Что стряслось? Что заставило Кейт прислать нам сообщения среди ночи? Причина может быть только одна – и мне тяжело о ней думать.

Поезд замедляет ход, приближаясь к солтенскому вокзалу. Вибрирует мобильник. Наверное, Кейт прислала сообщение – я здесь, я жду. Но это не Кейт. Это Тея.

Скоро буду.

Перрон пуст. Едва растворяется вдали грохот поезда, едва умиротворение, подобно ковро, вновь разворачивается над Солтенем, я улавливаю летние звуки – стрекотание сверчков, птичий щебет, отдаленный шум комбайна. Раньше первое, что я видела на парковке, был синеголубой школьный микроавтобус. Теперь парковка похожа на раскаленную пыльную коробку, и никого на ней нет – даже Кейт.

Качу коляску к выходу с перрона, тяжеленная сумка оттягивает плечо. Ну и что мне делать? Звонить Кейт? Надо было заранее обговорить с ней время. Мое сообщение наверняка дошло, но что, если мобильный Кейт разрядился? В любом случае на мельнице нет стационарного телефона.

Ставлю коляску на тормоз, достаю из сумки мобильный. Надо проверить новые сообщения и заодно посмотреть, который час. Пока ввожу пин-код, вдали нарастает шум двигателя. Дюны заглушают его, но ошибки быть не может. Действительно, к парковке подъезжает автомобиль. Я ожидала увидеть огромный внедорожник, на котором Кейт семь лет назад приехала к Фатиме на свадьбу. Как сейчас помню: вместо пассажирских кресел – скамьи, а в опущенном окне торчит темная, с вываленным языком, морда Верного. Однако к парковке заруливает обычное такси. Целую минуту я сомневаюсь, что за мной приехала Кейт, но вот она не без труда выбирается с заднего сиденья, сердце трепещет, и я уже не адвокат по гражданским делам, не мать, а девчонка, что бежит по перрону навстречу лучшей подруге.

– Кейт!

Она ничуть не изменилась. Те же тонкие, даже костлявые, запястья, те же светло-каштановые волосы и кожа медового оттенка, тот же вздернутый кончик носа, те же веснушки. Только волосы отпустила, перехватывает их простой резинкой, а тончайшую кожу вокруг глаз и рта испещряют лучики морщинок. Во всем остальном Кейт – прежняя, моя. Мы обнимаемся, я вдыхаю ее запах. Кейт осталась верна и своим излюбленным сигаретам, и привычному мылу. И, как всегда, от нее, художницы, пахнет живичным скипидаром. Чуть отстраняюсь, ловлю себя на дурацкой улыбке – счастливой, вопреки всему.

– Кейт, – повторяю в очередной раз, а она в очередной раз обнимает меня, прижимаясь щекой к моим волосам.

Детский писк напоминает, кто я, кем стала – и что произошло с нашей последней встречи.

– Кейт.

Односложное имя так легко, так сладко произносить.

– Кейт, познакомься с моей дочкой.

Приподнимаю козырек детской коляски, беру маленький, теплый, сердитый, сучащий ножками сверток, подношу к Кейт.

С трепетом Кейт принимает у меня Фрейю. Подвижное, тонкое лицо расцветает улыбкой.

– Какая ты красавица, – воркует Кейт. Голос мягкий и хрипловатый – как мне и помнится. – До чего похожа на свою мамочку... Айса, она прелесть!

– Что, правда на меня похожа?

Синие глаза Фрейи уставились в синие глаза Кейт. Пухлая ручка тянется дернуть за волосы, замирает, зачарованная особым светом, какой бывает только возле моря.

– Глазки ей от Оуэна достались, Кейт.

В детстве я ужасно расстраивалась, что глаза у меня не синие.

– Ну что, поедем?

Кейт обращается к Фрейе, а не ко мне. Берет Фрейю за ручку, гладит пухлые, шелковистые младенческие пальчики, трогает ямочки на запястьях.

– Пора. Поехали.

– Куда делась твоя машина?

Мы идем к такси – Кейт несет Фрейю на руках, я толкаю коляску, в которой лежит сумка.

– Барахлит опять. А на ремонт денег нет. Как обычно.

– Кейт!

«Когда ты уже найдешь нормальную работу? – вот что я могла бы спросить. – Когда продашь мельницу, когда переедешь в нормальный город, где твой талант оценят по достоинству? Когда перестанешь зависеть от туристов, которых в Солтене год от года все меньше?» Но я молчу. Потому что знаю ответ. «Никогда». Кейт никогда не покинет мельницу. Никогда не уедет из Солтена.

– На мельницу, леди? – кричит из окна таксист, и Кейт кивает:

– Да, Рик, спасибо.

Рик выходит из машины.

– Давайте я уберу коляску в багажник. Она у вас складная?

– Конечно.

Снова борьба с клапанами и застежками, и внезапное осознание:

– Черт, я же детское кресло забыла! Колыбель взяла – думала, Фрейя в ней спать будет. А кресло – нет.

– Не волнуйтесь, здесь полицейского днем с огнем не найдешь, – успокаивает Рик, закрывая багажник. – Только и есть что сынок Мэри, а он моих пассажиров арестовывать не станет.

Боюсь я вовсе не ареста; но имя «Мэри» режет слух.

– Сынок Мэри? – Я смотрю на Кейт. – Это Марк Рен, что ли?

– Он самый. – Кейт выдавливает улыбку, рот у нее чуть кривится. – Теперь его величают «сержант Рен».

– Мне казалось, он еще юнец.

– Всего на пару лет моложе нас, – говорит Кейт.

Разумеется. Тридцать лет – достаточный возраст, чтобы служить в полиции. Но Марк Рен видится мне четырнадцатилетним юнцом с прыщами и пухом над верхней губой, с привычкой сутулиться, чтобы скрыть шесть футов два дюйма роста. Помнит ли он нас? Помнит ли нашу игру?

– Ничего не поделаешь, – извиняющимся тоном произносит Кейт, пока мы пристегиваемся. – Придется держать Фрейю на коленях. Конечно, это не идеальный вариант.

– Я поеду тихо-тихо, как твоя улитка, – обещает Рик, выезжая с парковки на дорогу среди дюн. – Тут всего-то несколько миль.

– Через марш² ближе, – бросает Кейт и стискивает мою ладонь. Понятно: в ее воспоминаниях сейчас – все наши походы через марш в школу и обратно.

– С коляской по пескам не пройти.

Рик пытается поддерживать разговор:

– Жарко для июня, верно?

Заворачивает за угол, навстречу солнцу. Солнечный свет пятнает листву, мельтешение слепит, жарит щеки. Жмурюсь. Интересно, я солнцезащитные очки вообще взяла? Поддакиваю Рик:

– Пékло еще то. В Лондоне гораздо прохладнее.

– Что это вам вздумалось приехать в наши края? – Взгляд Рика в зеркале заднего вида встречается с моим. – Вы учились в школе вместе с Кейт?

– Да.

После этого лаконичного ответа я замолкаю. Действительно, что это мне вздумалось? Что меня позвало? Сообщение из трех слов? Переглядываюсь с Кейт, понимаю: сейчас, при таксисте, она объясняться не станет.

– Айса приехала на вечер встречи, – неожиданно выдает Кейт. – Завтра в Солтен-Хаусе торжественный ужин.

Хлопаю глазами, но Кейт сжимает мне ладонь: кивай да помалкивай. Мы доезжаем до железнодорожного переезда, машина подпрыгивает на рельсах, и я вынуждена обхватить Фрейю обеими руками.

– Говорят, эти ужины в Солтен-Хаусе просто шикарные, – вздыхает Рик. – Моя младшенькая там подрабатывает официанткой, я всякого от нее наслушался. И канapé подают, и шампанское, и бог знает что еще.

– Не знаю, не видела, – говорит Кейт. – Просто сейчас пятнадцатая годовщина нашего выпуска, вот я и подумала: не пора ли побывать на вечере встречи?

Пятнадцатая годовщина? С минуту мне кажется, что Кейт ошиблась в подсчетах. Мы-то сами покинули школу семнадцать лет назад, с аттестатами о среднем образовании – останься мы на подготовку к университету, Кейт была бы права. Для наших одноклассниц с выпуска прошло как раз пятнадцать лет.

Такси заворачивает за угол, я буквально стискиваю Фрейю. Вот я дура, что не взяла детское кресло!

– Часто подругу навещаете? – продолжает Рик, глядя на меня в зеркало.

– Нет. Не то чтобы. Давно здесь не была. – Ерзаю на сиденье, понимая, что Фрейе тесно и неловко в моих объятиях, но хватку ослабить не могу. – Все, знаете, хлопоты, дела какие-то...

² Территория, прилегающая к соленому водоему, периодически затопляемая приливом.

– Жаль. У нас так красиво, – откликается Рик. – Лично я не представляю, как бы в другом месте жил. Конечно, каждая лягушка свое болото хвалит. А ваши отец с матерью откуда родом?

– Они... они... – Слова застревают в горле, но Кейт рядом, и я умудряюсь выговорить: – Отец сейчас живет в Шотландии, а сама я росла в Лондоне.

Только что такси цеплялось боками за ограду пастбища – и вот уже мы едем через марш. Внезапно впереди возникает река. Наша река. Рич. Серая гладь с тростниковыми островками, с легкой рябью, почти не искажающей отражения линиялых облаков; ширь, и простор, и блеск, и чистота, от которых ком подступает к горлу. Кейт смотрит мне в лицо, улыбается, шепчет:

– Что, забыла уже?

Качаю головой:

– Конечно, нет.

Я лгу. Я действительно успела забыть, что нигде в мире нет ничего, подобного нашей реке. Я видела немало рек, пересекала и другие устья – но ни одно не было столь прекрасно, ни одно не являло слияния земли, небес и моря – столь полного, столь безоглядного слияния, что и не разобрать, где кончаются облака и начинается водная стихия.

Дорога становится направлением. Шины шуршат по гальке, брюхо автомобиля царапает сухая трава.

Наконец впереди вырастает черный силуэт, ложится тенью на тихую воду, располосованную отражениями облаков. Это – приливная мельница, еще более обветшавшая, чем мне помнится; уже не строение, а куча плавающего, собранного ветрами, поставленного торчком среди вод; игрушка ветров, которую они в любой миг могут сломать, разметать по морю. Сердце екает, непрошенные воспоминания бьются в черепной коробке, щекочут крыльями виски.

Закат. Голая Тея плещется в Риче, кожа у нее золотая, чахлые деревца отбрасывают неожиданно длинные, неожиданно черные тени на воду, которая в лучах солнца кажется жидким пламенем; устье подобно великолепной тигровой шкуре.

Морозное утро, камыши и тростники густо опушены инеем. Кейт распахнула заиндеветшее окно, высунулась, раскинула руки, выкрикивает что-то восторженное. Слова белыми облачками уносятся в небо.

Полдень. Фатима в крошечном купальнике растянулась на деревянных мостках. Кожа у нее оттенка красного дерева, гигантские солнцезащитные очки отражают ослепительную водную рябь.

А еще – Люк. Но здесь мое сердце запирается от памяти на ключ.

Мы подъехали к воротам.

– Лучше здесь и остановиться, Рик, – говорит Кейт. – Сегодня ночью был прилив, земля еще не просохла. Завязнете.

– Точно? – Рик оборачивается. – А то я не прочь рискнуть.

– Не надо. Мы прогуляемся.

Кейт тянется к ручке, вынимает банкноту в десять фунтов, однако Рик жестом отказывается от денег.

– Себе оставьте.

– Но, Рик...

– Я всю дорогу Рик. Ваш отец был хорошим человеком, что бы здесь о нем ни болтали; да и вы уже сколько лет среди сплетен живете и не пачкаетесь. В другой раз заплатите.

Кейт сглатывает, явно хочет что-то сказать, но не может. Произношу за нее:

– Спасибо вам, Рик. От меня-то вы деньги можете принять, верно?

Достаю десять фунтов. Рик колеблется, и я кладу банкноту в пепельницу. С Фрейей на руках выбираюсь из такси, Кейт тащит мою сумку, вынимает из багажника коляску. Наконец Фрейя уложена и пристегнута, и Рик решается:

– Так и быть, возьму. Понадобится куда-нибудь подъехать – сразу мне звоните. Хотя днем, хоть ночью. Договорились? Этакое страшное место, – продолжает он. – Не сегодня завтра под воду уйдет, а вы тут одни, без машины. Звоните мне, поняли? О деньгах не думайте.

– Поняли, поняли, – говорю я и для большей убедительности киваю.

И правда, как-то надежнее, когда есть, кому позвонить.

Итак, Рик уехал. Смотрим друг на друга, сами не понимаем, что нам связало языки. Солнечный жар льется с высоты прямо на наши макушки. Хочу спросить Кейт насчет сообщения, но что-то меня удерживает. Пока я собираюсь с мыслями, Кейт распахивает ворота, подталкивает меня вперед. Иду к деревянным мосткам, соединяющим мельницу с берегом.

Мельница расположена на клочке песчаной почвы, который едва ли шире, чем фундамент. Вероятно, в прежние времена этот клочок был частью берега. При строительстве прорыли узкий канал. Отделив мельницу от суши, он регулировал приливы и отливы, вращавшие мельничное колесо. Теперь колесá нет, и только черный обрубок, торчащий из стены, указывает на место их прежнего нахождения. Над обрубком устроены мостки в десять футов длиной – именно настолько мельница отстоит от берега. Семнадцать лет назад мы, четверо, бегали разом по этим мосткам; сейчас даже представить страшно, как мы не боялись, что дерево не выдержит нашего совокупного веса. Мостки – гораздо уже, чем мне помнится, просоленные доски местами прогнили, а поручней здесь и раньше не было. Кейт, впрочем, ступает уверенно, неся мою сумку.

Делаю глубокий вдох, отгоняю страшные картины (мостки рушатся, коляска скользит в соленую воду) и следую за Кейт. Сердце колотится где-то в горле, когда коляска проезжает над проломами. Выдыхаю, лишь очутившись в относительной безопасности по ту сторону мостков.

Дверь не заперта. Ее здесь никогда не запирали. Кейт надавливает на ручку, отступает, пропуская меня внутрь. Толкаю коляску по деревянным ступеням, вхожу.

С Кейт я последний раз виделась семь лет назад, а вот в Солтене не была вдвое дольше. Целый миг кажется, что я сделала шаг в прошлое, мне снова пятнадцать, и это мое первое посещение мельницы – так завораживающе прекрасен царящий здесь упадок. Высокие асимметричные окна с потрескавшимися рамами выходят на устье, сводчатый потолок заставляет запрокидывать голову, высматривая в сумрачной вышине почерневшие балки; лестница идет винтом, как пьяная, делает передышки на хлипких площадках, заглядывает в спальни, словно кого-то ища, пока не успокаивается в мансарде с видом на стропила, под самой крышей.

Я вижу закопченную печь с гнутой, как змея, трубой и приземистый диван с лопнувшими пружинами; но главное – картины. Им нет счета; они кругом. Некоторые мне незнакомы – наверное, их рисовала Кейт; но не меньше сотни для меня словно старые друзья или полузабытые имена. Вот над ржавым умывальником, в золоченой раме – малютка Кейт, круглолицая, с чубчиком, сосредоточенно тянется к некоему объекту, скрытому художником от зрителя.

Вот между высоких окон, незаконченный холст – Рич, хрусткое зимнее утро, одинокая цапля низко летит над замерзшей водной гладью.

У двери, что ведет к туалету, – акварельный портрет Теи. Контур лица размыты, Тея словно впитывается шершавой бумагой.

Над столом карандашный набросок – мы с Фатимой качаемся в гамаке, наши руки сплетены, мы смеемся – словно причин для страха вовсе нет.

Воспоминания, подобно приливной волне, едва не сбивают с ног, тянут за собою обратно в прошлое – но тут раздается громкий лай. Вихревое пятно – белое с серым – мчится ко мне, и в следующую секунду две большие лапы уже на моих плечах. Верный тычется темной в крапинку мордой мне в колени, разбивает чары – ведь Верного в нашем прошлом не было.

– Кейт, здесь все по-прежнему!

Понимаю: звучит глупо, банально. Кейт передергивает плечами, расстегивает ремешки коляски.

– Не все. Видишь – я холодильник передвинула.

Она кивает на пустой угол, на часть стены, десятилетиями не знавшую косметического ремонта.

– И пришлось продать множество папиных картин. Лучших картин, Айса. Пустое пространство я заполнила своими картинами, но куда мне до папы! Ты теперь не найдешь двух моих любимых вещей – помнишь, скелетик ржанки и гончий пес среди дюн? Что до остальных... я не сумела с ними расстаться.

Кейт смотрит на картины поверх головки Фрейи и взглядом ласкает каждую. Забираю Фрейю из ее рук, устраиваю у себя на плече, не озвучивая своих мыслей: «Мельница выглядит как музей-квартира какой-нибудь знаменитости. Полное ощущение, что владелец вышел минуту назад; абсолютно такое же, как в спальне Марселя Пруста, заботливо воссозданной в музее Карнавале, или в кабинете Киплинга, который сохранился нетронутым в Бейтманс-Хаусе. Только на мельнице нет веревок, не подпускающих к экспонатам; и дом – обитаемый: здесь живет Кейт».

Боясь, как бы Кейт не прочла мои мысли, делаю шаг к окну, глажу Фрейю по упругой теплой спинке – не столько для ее успокоения, сколько для своего. Смотрю на Рич.

Даже в отлив деревянные мостки возвышаются над плещущими волнами всего на несколько футов. Изумленная, поворачиваюсь к Кейт.

– Похоже, вроде как мостки затопило?

– И не только их, – печально произносит Кейт. – Под воду уходит вся мельница, ничего не поделаешь. Я даже эксперта приглашала, и он сказал, здесь нет нормального фундамента. Мельницу ни продать, ни заложить нельзя. Никто за нее гроша не даст.

– Но как же... погоди, в каком смысле «под воду уходит»? А если укрепить? Что, совсем никак не получится?

– Совсем. Проблема в том, что под нами песок. Не на чем установить фундамент. Рано или поздно мельница будет затоплена полностью.

– Но ведь это опасно!

– Да нет. В смысле, да, конечно, от подтопления покосились стены, полы на верхних этажах покосбились и все такое. Расслабься: до утра мы точно не утонем. Вот с проводкой действительно беда.

– С проводкой?

Смотрю на выключатель, почти готовая к тому, что сейчас он заискрит. Кейт усмехается:

– Не волнуйся. Я уже давно установила мощный автомат защиты сети. Как только поняла, что дело серьезное, так и раскошелилась. Срабатывает при малейшем намеке на короткое замыкание. То есть почти каждый раз во время прилива.

– При таких характеристиках дом не застрахуешь.

Кейт смотрит так, словно я сказала глупость.

– А к чему мне страховка?

Качаю головой.

– Что ты в мельницу вцепилась, Кейт? Это же сумасшествие. Нельзя жить в таких условиях.

– Айса, – терпливо говорит Кейт, – пойми: я не могу уехать. Не могу, и точка. Дом никто не купит.

– Ну так не выставляй его на продажу. Просто уезжай. Ключи пусть банк забирает. Объяви себя банкротом, если потребуется.

– Не могу, – упрямо повторяет Кейт, подходит к плите, поворачивает рычажок, пускает газ. Горелка вспыхивает голубым огнем. Чайник начинает посвистывать. Кейт достает две кружки и старую коробку с заваркой. – Причина тебе известна, Айса.

Возразить нечего. Кейт попала в точку. Именно по этой причине я сейчас здесь.

– Кейт, – слова приходится выталкивать усилием воли, – Кейт, твое сообщение...

– Не сейчас, Айса.

Она стоит ко мне спиной – специально, чтобы я не видела лица.

– Извини, просто это было бы... нечестно. Придется нам подождать остальных. Тогда я все расскажу.

– Ладно, – спокойно соглашаюсь я.

Хотя спокойствия не ощущаю.

Следующей приезжает Фатима. Уже почти стемнело, в окна вяло тянет теплым бризом, я листаю роман, пытаюсь отвлечься. Хочется встряхнуть Кейт, выбить из нее правду. Не меньше хочется, как страус, спрятать голову в песок.

Сейчас, вот в этот самый миг, все пропитано изумительным покоем; при мне моя книга, рядом моя Фрейя, мирно посапывающая в колыбели. Кейт хлопочет у плиты, аппетитно пахнет чем-то острым. Цепляться бы за эти мелочи, сколько хватит сил. Может, если я достаточно долго продержусь, если мы не станем говорить о прошлом – получится самая обычная встреча старых друзей. Как я и сказала Оуэну.

Вздрагиваю от шипения сковородки. В ту же секунду Верный начинает отрывисто лаять, и слышится шорох шин. С основной дороги свернул автомобиль и приближается к Ричу.

Поднимаюсь, открываю ту дверь, что выходит на сторону суши. Вот он, большой черный внедорожник, катит, сотрясаясь от какого-то хита, распугивая дюнных птиц, что крикливыми стаями взмывают в небо. Внедорожник все ближе, ближе. Наконец он останавливается, под шинами хрустит галька, скрипит ручной тормоз. Двигатель заглушен, возвращение тишины внезапно, ошеломляюще.

– Фатима! – зову я.

Распахивается водительская дверь. Бегу навстречу Фатиме, которая уже раскрыла мне объятия.

– Айса! – Яркие глаза черны, как у малиновки. – Когда же мы в последний раз виделись?

– Не помню!

Целую Фатиму в щеку, наполовину скрытую под шелковым шарфом, прохладную после нескольких часов, что Фатима провела в автомобиле с кондиционером. Отстраняюсь, всматриваюсь в ее лицо.

– Кажется, я к тебе приезжала после рождения Надии. Выходит, шесть лет назад. Боже!

Фатима кивает, вскидывает руки к невидимкам, которыми крепится у нее на голове шелковый шарф, повязанный а-ля Одри Хепберн. Вот сейчас она его снимет. Однако Фатима, наоборот, поправляет невидимки, и я внезапно понимаю: это не просто шарф, это хиджаб. Что-то новенькое. Новенькое с нашей последней встречи, а не со школьных времен. Уловив мой взгляд, Фатима угадывает и мою мысль. Улыбается, закрепляя последнюю невидимку.

– Ну да, я немного изменилась. Давно прикидывала, не пора ли носить хиджаб, а после рождения Самира что-то во мне щелкнуло. Решила: самое время.

– Это ты из-за... то есть ради... ради Али?

Мысленно ругаю себя за дурацкое начало. Фатима косится на меня своими блестящими черными глазами.

– Милая Айса, ты меня достаточно давно знаешь. Скажи, я когда-нибудь делала ради парня что-либо, чего сама не хотела? – Она вздыхает. – Сама не пойму, в чем тут дело. Может,

материнство заставило меня пересмотреть жизненные ценности? Или к пресловутым корням возвращаюсь? Знаю только одно: сейчас я счастливее, чем когда-либо прежде.

– А я...

Не получается выразить свои чувства. Скольжу взглядом по платью, застегнутому наглухо, до самой шеи; по шарфу, плотно облегающему голову Фатимы, и вспоминаю ее прекрасные волосы – черный водопад, струившийся по плечам, по лямкам и чашечкам бикини, так что казалось, Фатима под этим покровом обнаженная. Амброуз как-то назвал ее леди Годивой. Тогда я еще не знала, кто это такая. А сейчас... сейчас все спрятано. Впрочем, мне-то желание Фатимы отгородиться от прошлого вполне понятно.

– Если честно, я такого не ожидала. А что Али? Он с тобой солидарен? В смысле, празднует Рамадан, и все такое?

– Да. Мы к этому вместе пришли.

– Твои родители, наверное, довольны.

– Не знаю. Трудно сказать.

Фатима закидывает сумку на плечо, мы идем по мосткам, напрягаем зрение, высматривая подгнившие доски. Солнце вот-вот скроется.

– Да, пожалуй, мои родители довольны, хотя мама всю жизнь делала вид, что принимает меня и без хиджаба. Сейчас, кажется, она втайне торжествует: надо же, дочка все же вернулась к корням. А свекр со свекровью... ты удивишься, но они не в восторге. Свекровь у меня женщина веселая, общительная; твердит мне: «Фатима, в этой стране люди не одобряют тех, кто носит хиджаб, ты сама себе шансы найти работу сокращаешь, в школе другие родители тебя радикалкой считают». Я говорю: «Что вы, мама, знаете, как у нас в больнице меня ценят? Женщина-врач на полной ставке, да еще и урду владеет. А что до родителей, так половина детей в школе из мусульманских семей». Представь: не верит!

– Как дела у Али?

– Отлично. Его постоянно на консилиумы приглашают. Работает без отдыха. Впрочем, как и мы все.

– Только не я. У меня отпуск по уходу за ребенком. Целыми днями дома зависаю.

В ответ на мою фразу, одобренную легким смешком, Фатима тупит взгляд.

– А, ну да, к этому прилагаются бессонные ночи и трещины на сосках. Уж лучше в больнице, на полную смену... А где Фрейя? Хочу с ней познакомиться.

– Спит. Устала за поездку. Но скоро проснется.

Мы успели добраться до дверей. Фатима медлит и не поворачивает дверную ручку.

– Айса...

Достаточно одного этого слова, одной паузы после него, чтобы я поняла, о чем думает Фатима, о чем не решается спросить. Качаю головой:

– Понятия не имею. Спросила Кейт, а она говорит: пусть все соберутся, а то получится нечестно.

Фатима сникает, и все вдруг становится пустым и ненужным, и от вопросов о работе и здоровье губы сохнут, будто от пыли. Фатима нервничает не меньше меня, мы обе думаем только о сообщении Кейт, обе гоним мысль о том, что оно может означать. О том, что оно наверняка и означает.

– Готова?

Фатима выдыхает, почти не разжимая губ. Следует короткий кивок:

– Конечно. Как всегда. Проклятье. Похоже, началось.

Фатима открывает дверь, и прошлое накатывает на нее – точь-в-точь, как накатило на меня.

В тот самый первый день, на солтенском перроне, были только мы втроем – я, Тея и Кейт, да еще вдалеке маячила хрупкая темноволосая девочка лет одиннадцати-двенадцати. Несколько раз окинув перрон растерянным взглядом, девочка направилась в нашу сторону. По мере ее приближения я заметила, во-первых, что на ней школьная форма, а во-вторых, что сама она гораздо старше, чем показалась издали, – ей все пятнадцать, просто она миниатюрная.

– Привет, – сказала она. – Вы в Солтене учитесь?

– Нет, мы шайка педофилок, а форму напялили для конспирации, – отозвалась Тея, видимо, по привычке, и сразу добавила, качнув головой: – Извини, глупость сморозила. Да, мы из Солтена. Ты новенькая?

– Новенькая.

Девочка зашагала вровень с нами, представилась:

– Меня зовут Фатима.

У нее оказался лондонский акцент, и я сразу к ней прониклась.

– А где остальные? – продолжала Фатима. – Я думала, будет полный поезд солтенских учениц.

Кейт покачала головой:

– Родители обычно сами привозят своих дочек, особенно после летних каникул. Вдобавок, приходящие ученицы и те, что ночуют в школе только в будни, а каждые выходные отправляются по домам, не приедут раньше понедельника.

– А много их, приходящих?

– Примерно треть от общего количества. Я сама из второй категории, то есть на выходные ухожу домой. Просто я гостила у Теи в Лондоне, вот мы и поехали обратно вместе.

– А где твой дом? – спросила Фатима.

– Вон там.

Кейт махнула в сторону марша, туда, где в отдалении серебрилась вода. Я, как ни напрягала глаза, дом разглядеть не смогла. Но он явно там был, затерянный среди дюн, а может, стоял за лесополосой, что тянулась вдоль железнодорожных путей.

Фатима обратилась ко мне:

– Ты тоже приходящая?

Личико у нее было округлое, приветливое, волосы, зачесанные с висков под ободок, черной волной падали на спину.

– Давно здесь учишься? В каком классе?

– Мне пятнадцать. В пятый перешла. Я... я новенькая, как и ты. И тоже пансионерка.

Не хотелось рассказывать всю историю – про мамину болезнь, про длительные курсы лечения, когда мы с тринадцатилетним братом, Уиллом, оставались одни дома, когда папа допоздна задерживался на работе в банке. А потом ему взбрело в голову отправить нас в закрытые школы. Это было как гром среди ясного неба. Почему папа так решил? Разве я доставляла ему неприятности? Я не бунтовала, не баловалась ни травой, ни «колесами», номеров не выкидывала. На мамин диагноз отреагировала тем, что стала учиться еще прилежнее. Еще внимательнее относилась к обязанностям по дому – стряпала, ходила за покупками, напоминала отцу, что пора платить экономке. А он что сделал? Позвал нас с Уиллом и начал: «Так для вас будет лучше... не надо вам в собственном соку вариться... учеба не должна страдать... последний год перед экзаменом на аттестат...»

Помню, я стояла, как пыльным мешком прибитая; и на солтенском перроне я чувствовала себя точно так же. Уилл только кивнул, у него даже верхняя губа не дрогнула – а ночью я слышала, как он плачет в подушку. В тот день отец отвез его в Чартерхаус, а на мою доставку его уже не хватило. Поэтому я ехала одна.

– Мой папа сегодня очень занят, – неожиданно для себя самой объяснила я. – А то бы он меня привез.

Получилось естественно, словно я эту фразу отрепетировала.

– А мои родители за границей, – сказала Фатима. – Они у меня врачи-волонтеры. На год уехали. Бесплатно.

– Ни фиги себе! – выдала Тея. По тону было ясно: она под впечатлением. – Мой отец выходными не жертвует, а тут – целый год! Им что, вообще ничего не платят?

– Только стипендию, или как ее там. Может, правильнее сказать «суточное содержание». Но сумма зависит от зарплат местных жителей, так что выходит совсем чуть-чуть. Они не ради денег, а ради веры. Так они понимают служение Аллаху.

Мы завернули за угол крохотного здания вокзала, где поджидал сине-голубой микроавтобус. Рядом с автобусом стояла женщина в юбке и блейзере, с блокнотом в руках.

– Добрый день, девочки, – произнесла она, обращаясь к Тее и Кейт. – Надеюсь, вы хорошо провели лето?

– Да, мисс Рурк, – ответила Кейт. – Это Фатима и Айса. Мы познакомились в поезде.

– Фатима... – мисс Рурк медленно повела шариковой ручкой по своему списку.

– Квуреши, – подсказала Фатима. – Пишется: «К», «В», «У»...

– Достаточно, – отрезала мисс Рурк и подчеркнула нужную фамилию. – А ты, должно быть, Изза Уайлд.

Я покорно кивнула.

– Я правильно произношу – Изза?

– Нет, нужно «Айса». Чтобы рифмовалось с «вливайся».

Мисс Рурк воздержалась от комментариев, сделала пометку в блокноте и убрала наши чемоданы в багажное отделение. Друг за дружкой мы полезли в микроавтобус.

– Закройте дверь поплотнее, – распорядилась мисс Рурк с переднего сиденья, не глядя на нас.

Фатима ухватила за дверную ручку, потянула, дернула. Последовал громкий хлопок. Микроавтобус тронулся, запрыгал по раздолбанному асфальту, покатил меж дюн к морю.

Тея и Кейт потихоньку переговаривались на заднем сиденье, а мы с Фатимой сидели плечом к плечу, молча, и делали вид, будто каждый день катаемся в школьных микроавтобусах.

Первой не выдержала я:

– Фатима, ты раньше в закрытой школе училась?

Она покачала головой:

– Нет. Я вообще сюда не хотела. Лучше бы с родителями в Пакистан поехала. А ты?

– Та же фигня. А Солтен-Хаус ты видела?

– В прошлом году родители меня сюда возили, когда школу подыскивали. Как тебе это заведение, Айса?

– Мне? Я... я здесь не бывала.

Отец все решил за меня и без меня, на ознакомительные визиты времени не осталось. Если Фатима и сочла это странным, то своих мыслей не выдала.

– Не бывала так не бывала, – сказала она. – Знаешь, ты не пугайся, только... только этот Солтен-Хаус сильно смахивает на образцовую тюрьму.

Я кивнула с вымученной улыбкой. Ясно, что имеет в виду Фатима – я видела Солтен на фото в рекламном проспекте, мне в глаза тоже бросилось сходство с тюрьмой. Белый прямоугольник фасада, развернутый к морю; мили железного ограждения. Фотография на обложке являла общий план здания – пугающе строгие линии, аскетизм скорее подчеркнут, нежели смягчен, четырем довольно-таки нелепыми башенками по углам, будто архитектор в последний момент спохватился – а не слишком ли сурово получилось? – и дорисовал эти чужеродные башенки. Острые углы мог бы сгладить плющ или хотя бы мох; впрочем, на морском ветру ни одному растению, наверное, не выжить.

– Как думаешь, нам позволят выбирать, с кем поселиться в одной комнате? – спросила я.

Вопрос возник еще при выезде из Лондона и с тех пор терзал меня.

Фатима пожала плечами:

– Кто их знает? Вряд ли. Сама подумай, какие споры начнутся, если каждая ученица станет сама выбирать себе соседку. Наверное, списки давным-давно готовы, остается только подчиниться.

Я снова кивнула. Я внимательно читала проспект, и меня очень задело, что в Солтене девочкам разрешается селиться по одной только в шестом классе. Дóма я привыкла к собственному личному пространству. Четвероклассницы и пятиклассницы, гласил проспект, живут по две в комнате. Ладно, по крайней мере, у них упразднен такой анахронизм, как дортуары³.

Мы снова замолкли. Фатима углубилась в книгу Стивена Кинга, я стала смотреть в окно, на соляные марши, слепившие обширными пятнами водной глади, на плотины и каналы, что змеились под солнцем. Скоро пейзаж изменился: марши уступили место песчаным дюнам. Микроавтобус ехал теперь как бы по неглубокому ущелью между дюнных гряд. С моря дул ветер, и даже мы, пассажиры, ощущали, как нелегко микроавтобусу с ним бороться.

Наконец, дорога повернула, мисс Рурк махнула водителю, и тот выехал на подъездную аллею, мощенную белой плиткой. Аллея вела прямо к школьным воротам.

Солтен прочно врезался в мою память. С трудом верится, что были в моей жизни и досолтенские времена. В тот день я сидела, притихшая, в микроавтобусе, который еле тащился по подъездной аллее вслед за «Мерседесами» и «Бентли», и вникала в обстановку. На фасад, ослепительно-белый на фоне синего неба, было больно смотреть; фото для рекламной брошюры явно делали в такую же погоду. Четкие прямоугольники окон, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, сверкали, придавая строению дополнительную строгость. Пожарные лестницы чернели по торцам и обвивали четыре башенки, словно рукотворный плющ. Вдали виднелись хоккейная коробка и теннисный корт, а также безразмерная площадка для прогулок. За ней начинался соляной марш. Приглядевшись, я увидела, что парадная черная дверь открыта настежь. Девочки бегали, кричали, обнимались с родителями, приветствовали подруг и наставников – эта суматоха напоминала пчелиный рой.

Микроавтобус остановился, мисс Рурк поручила нас с Фатимой другой учительнице, мисс Фарквухарсон-Джим. Оказалось, она ведет гимнастику. Тея и Кейт словно растворились, а нас затянуло в толпу девочек, читавших списки на доске объявлений, громко выражавших удовлетворение или возмущение тем, как их распределили по комнатам и спортивным командам. Кто-то тащил чемодан, кто-то хвастался домашними лакомствами или новой стрижкой.

Над общим хаосом звенел голос мисс Фарквухарсон. Казалось, ей никаких усилий не стоило перекрикивать толпу.

– Сразу две новенькие в пятом классе – очень нехарактерное явление для нашего учебного заведения.

Вслед за мисс Фарквухарсон мы вошли в холл с высоким потолком, панелями на стенах и крутой винтовой лестницей.

– Как правило, новеньких мы сразу селим со старенькими, чтобы они быстрее усваивали наши правила. Но в вашем случае, по ряду причин, мы решили иначе. Вы будете жить вместе.

Мисс Фарквухарсон заглянула в блокнот и добавила:

– Башня 2Б – вот где ваша комната. Конни, постой-ка! – Она ухватила за руку девочку помладше нас, мчавшуюся куда-то с ракеткой для бадминтона. – Будь добра, Конни, покажи Фатиме с Айсой дорогу в башню 2Б. Да проводи их мимо буфета, чтобы они не заблудились после, когда настанет время ланча. А ланч у нас, девочки, ровно в час дня. О нем возвещает

³ Общая спальня для учащихся в закрытых учебных заведениях.

колокол, но лишь за пять минут до начала, так что настоятельно советую вам сразу выходить из комнаты, ибо до буфета от башни 2Б далековато. А сейчас ступайте вместе с Конни.

Мы закивали. От криков кружилась голова. Конни усакала вперед, мигом смешавшись с толпой, а мы с тяжелыми чемоданами потащились следом.

– Советую усвоить: парадный вход не для всех. Его открывают только в первый день семестра, в другие дни им пользуются только привилегии.

– Кто-кто? – переспросила я.

– Отличницы, капитаны команд, старшие по дисциплине и прочие. Скоро сами разберетесь. Одно посоветую: не уверены – не лезьте через парадный. Досадное правило, потому что так быстрее всего возвращаться с пляжа и с хоккея, но экономия времени выговора не стоит.

Без предупреждения Конни нырнула в очередной дверной проем и махнула в сторону коридора, выложенного каменными плитами:

– Вон там у нас буфет. Двери не откроют, пока час не пробьет, но лучше не опаздывать, а то без мест останетесь. Вас правда в башню 2Б поселили?

Вопрос показался мне странным. Фатима ответила за нас обеих:

– Так учительница сказала.

– Повезло вам, – с завистью вздохнула Конни. – В башнях лучшие спальни, это каждый знает.

Она не потрудилась объяснить, чем башенные спальни отличаются от прочих. Толкнула тяжелую дверь и начала непростой подъем по узкой и темной лестнице, которую с порога можно было и не заметить. Я пыхла, выбивалась из сил, еле успеваю за Конни. Чемодан Фатимы громышал по ступеням.

– Давайте поживее, – поторапливала Конни. – Меня Летиция ждет, я обещала, что до ланча приду – не знала, что мне вас навяжут.

Я снова кивнула, на сей раз мрачно, и втащила чемодан на очередную лестничную площадку. Наконец мы оказались перед дверью с табличкой «Башня 2».

– Дальше сами, девочки, – сказала Конни. – Теперь не заблудитесь, там всего две комнаты – А и Б. Ваша – Б.

– Огромное спасибо, – бросила Фатима, и Конни мигом скрылась – будто в кроличью нору канула. Мы с Фатимой, выдохшиеся, растерянные, смотрели на табличку «Башня 2».

– Да тут целый лабиринт, – произнесла Фатима. – Фиг найдешь эту их банкетную.

– Буфетную, – автоматически поправила я и тотчас прикусила язык.

Впрочем, Фатима, если и расслышала, то не обиделась.

– Ну что, идем, Айса?

Она толкнула дверь Башни, но не вошла, а сделала поклон.

– После вас.

Я заглянула внутрь. Снова лестница, на сей раз винтовая, исчезающая где-то в вышине. Со вздохом я взялась за ручку чемодана. Если так каждый день бегать вверх-вниз, скоро я такие мышцы на ногах накачаю, что просто ах.

Первая дверь вела в ванную. Мы увидели умывальники, две туалетные кабины и перегородку, за которой, наверное, была ванна. Мимо, мимо, все дальше, все выше – и вот мы на второй лестничной площадке с единственной дверью, помеченной буквой «Б». Я покосилась на Фатиму, смерила взглядом лестничный колодец, вскинула бровь.

– А теперь куда?

– Только вперед, – оптимистично ответила Фатима.

Я постучалась. Ответа не последовало, и я осторожно толкнула дверь. Мы вошли.

Комната с двумя окнами оказалась неожиданно уютной – вероятно, за счет округлых стен башни. Одно окно выходило на север – из него открывался вид на марши. Второе, западное, являло бесконечные школьные спортплощадки и дорогу вдоль побережья. Я прикинула: наша

башня – левая задняя, если смотреть с фасада. Прямо под нами пестрели крыши. По фото из брошюры я узнала крыло с помещениями для занятий естественными науками и спортивный зал. Под каждым окном стояла узкая железная кровать с простым белым постельным бельем и красным одеялом в ногах. Возле кроватей – деревянные тумбочки, а между окнами – два шкафчика, высокие, но слишком узкие, чтобы называться платяными. Один был помечен табличкой «А. Уайлд», второй – «Ф. Квуреша».

– По крайней мере, насчет кроватей все решено за нас, – произнесла Фатима, подтащила чемодан к шкафчику со своей фамилией и добавила: – Организация на высшем уровне.

Я как раз изучала стопку бумаг на столе, которую венчал «Контракт между Школой и Ученицей» – его надлежало подписать и отдать мисс Уэзерби, – когда зазвенел, затрещал, отозвался эхом в коридоре какой-то безумный звонок. Фатима подпрыгнула, явно перепуганная не меньше меня.

– Что еще за черт? Только не говори, что здесь всегда такими звуками в буфет приглашают.

– Кажется, так оно и есть. – Сердце у меня все еще колотилось от первого испуга. – Гадский звонок. Как думаешь, к нему можно привыкнуть?

– Сомневаюсь. По-моему, нам пора на выход. Вряд ли мы за пять минут отыщем эту их обжорную.

Я молча открыла дверь. Сверху слышались шаги, и я подняла голову, надеясь увязаться за девочками, которые так уверенно спускались в обеденный зал. Ноги, представшие моему взору, были длиннющие и удивительно знакомые. Всего несколько часов назад при мне на эти самые ноги натягивались чулки, запрещенные правилами внутреннего школьного распорядка.

– Так-так-так, – произнесла Тея.

За Теей, из-за поворота винтовой лестницы, появилась Кейт.

– Знаешь, кто наши соседки, кого поселили в 2Б? – нараспев продолжала Тея. – Похоже, предстоит веселый год.

– То есть ты теперь не пьешь? – говорит Кейт, вновь наполняя мой бокал, а затем и свой. Лицо в свете лампы насмешливое, брови не столько хмурятся, сколько выражают удивление. – Прямо совсем?

Фатима кивает и отодвигает тарелку.

– Именно. Отказ от спиртного – обязательное условие, сечешь?

Она закатывает глаза – не ожидала от себя этого словечка.

– Ну и как оно, вечно на трезвую голову? – спрашиваю я.

Фатима делает глоток лимонада, который привезла с собой, и пожимает плечами:

– Если честно – нормально. В смысле, я помню, как мы веселились и каков на вкус джин с тоником, но...

Она замолкает.

Догадываюсь, что именно Фатима хотела сказать: алкоголь – не абсолютное благо, без него мы, пожалуй, столько ошибок не наделали бы.

– Я всем довольна, – произносит наконец Фатима. – Потому что так – правильно. И во многих отношениях без алкоголя проще. Например, когда ты за рулем или беременна. Я из мухи слона не раздуваю. Завязала – значит, завязала.

Потягиваю красное вино. Верхний свет выключен, мы сидим при лампе, и потолок расцвечен рубиновыми бликами из бокала. Прямо над нами, на втором этаже, спит Фрейя. Физически ощущаю, как алкоголь просачивается в грудное молоко.

– Я стараюсь не увлекаться. Ради Фрейи. Позволяю себе пару бокалов, не больше. Я ведь грудью кормлю. Но девять месяцев без единой капли еле выдержала. Если честно, меня только одна мысль грела – о бутылке «Пуйи-Фюмэ», которую я припрятала на период после родов.

– Целых девять месяцев без единой капли! – Кейт осторожно поворачивает бокал, оценивая маслянистость вина. – Я уж и не припомню, когда последний раз девять дней подряд выдерживала. А ты, кажется, больше не куришь? По-моему, бросить курить – это достижение.

– Я бросила, еще когда познакомилась с Оуэном. С тех пор – ни-ни. Поэтому и позволяю себе выпить вина – невозможно отказаться разом от двух и более дурных привычек. Тебе, Фатима, повезло, что ты к сигаретам никогда не притрагивалась.

Фатима смеется:

– Верно. С чистой совестью могу втирать пациентам о вреде табака. Они, знаете ли, не особенно верят доктору, от которого дымом разит. Мой Али периодически покуливает. Тайком, но я-то его насквозь вижу.

– И ты его не упрекаешь? – спрашиваю я с мыслью об Оуэне.

Фатима пожимает плечами:

– Пусть это остается на его совести. Вот если бы Али при детях курил – ему бы не поздоровилось. А так... перед Аллахом ответит за нанесенный собственному организму ущерб.

– До чего странно... – Кейт смеется. – Ой, прости, я ничего плохого в виду не имела. Просто не могу привыкнуть. Ты вроде прежняя Фатима, и все-таки... – Кейт указывает на хиджаб. Фатима давно сняла его с головы, но он лежит у нее на плечах, как вещественное доказательство глубины изменений.

– Только не обижайся, – продолжает Кейт. – На самом деле это круто. Просто мне нужно время на... на адаптацию. То же самое было, когда я увидела Айсу с Фрейей.

Кейт улыбается мне, тонкие морщинки в уголках рта проступают явственнее.

– Нет, правда. Смотрю – идет по перрону с коляской, а в коляске – живой маленький человечек. Ты, Айса, так ловко с Фрейей управляешься, мордашку ей вытираешь, подгузники меняешь – будто всю жизнь только этим и занималась... Не верится, что ты теперь мать. Вот ты сидишь на своем старом месте, и вроде ничего не изменилось, а на самом деле...

На самом деле изменилось все.

В одиннадцать Фатима смотрит на часы, отодвигается от стола. Мы разговаривали – долго и обо всем, начиная с пациентов Фатимы и заканчивая солтенскими сплетнями и работой Оуэна. Одной только темы не касались, но неозвученный вопрос – зачем Кейт собрала нас, к чему такая срочность – висел между нами в воздухе.

– Мне нужно отлучиться, – говорит Фатима. – В туалет.

– Ага, иди, – отзывается Кейт, не поднимая головы.

Она готовит себе папиросу, тонкие смуглые пальцы привычно и ловко берут табак, помещают на бумагу, раскатывают.

– Где мне расположиться? В задней комнате или?... – спрашивает Фатима.

– Ой, прости, с этого следовало начать. – Кейт качает головой, как бы себе в укор. – Нет, внизу разместится Тея. А тебе, Фатима, я уступаю свою старую комнату. Теперь я сплю на самом верхнем этаже.

Фатима кивает, идет в ванную. Мы с Кейт остаемся одни.

Кейт берет самокрутку и разминает на столешнице. Медлит закурить.

– Не обращай на меня внимания, Кейт.

Конечно, она не закуривает, потому что я бросила.

– Нет, Айса, так нечестно. Лучше выйду на улицу.

– И я с тобой.

Кейт распахивает дверь, что выходит на реку, ведет прямо к мосткам. Вместе мы шагаем за порог, погружаемся в теплый ночной воздух. Темно, и луна над Ричем восхитительна. Кейт держится левой стороны мостков, движется против течения Рича. Вдали перед ней – деревушка Солтен. Соображаю, хоть и не сразу, почему Кейт выбрала это направление. Противоположный конец мостков, тот, где нет поручней, где мы, бывало, сидели во время прилива, болтая ногами в воде, – полностью затоплен.

Кейт ловит мой взгляд, пожимает плечами, выражая покорность судьбе.

– Ну да, прилив их теперь затопляет. – Следует взгляд на часы. – Это – максимум; скоро вода начнет спадать.

– Кейт, я даже не представляла... Ты это имела в виду, говоря, что мельница тонет?

Кейт кивает, щелкает зажигалкой, глубоко затягивается.

– Но это ведь серьезно. В смысле, она и правда уходит под воду.

– Ну да.

Голос ровный. В ночное небо устремляется струйка дыма. От желания закурить у меня кружится голова. Дым щекочет и дразнит нёбо.

– А что поделаешь?

Вопрос риторический. Кейт мешает говорить самокрутка в углу рта. Внезапно у меня сдают нервы. Ожидание кого угодно с ума сведет.

– Кейт, дай затянуться.

– Что?

Кейт оборачивается, луна освещает ее сзади. Лицо Кейт в тени.

– Не дам. Завязала – значит, завязала. Держись, Айса.

– Ты не хуже меня знаешь – завязавших не бывает, бывают те, кто достаточно долго не развязывается.

Зря я это сказала. Не сразу сообразила, кого цитирую; зато осознание подобно кинжалу в сердце. Семнадцать лет прошло, а я все думаю об этом человеке; насколько же горько должно быть Кейт!

– Господи! – Я всплескиваю руками. – Кейт, прости, прости, пожалуйста...

– Все нормально, – говорит Кейт.

Но больше не улыбается, а морщинки у рта становятся резче и глубже. Она затягивается, а в следующий миг почти вкладывает самокрутку в мои пальцы.

– Я думаю о нем непрерывно. Напоминанием больше, напоминанием меньше – какая разница?

Папирosa в моих пальцах невесома, как спичка. Подношу ее к губам, делаю глубокую затяжку. Ощущение, что погружаюсь в горячую ванну. Мои легкие впитывают дым, и как же это сладко... А затем случаются два обстоятельства. Во-первых, вдали, со стороны суши, возле моста, появляется двойная вспышка света. Автомобильные фары. Машина останавливается, немного не доехав до мельницы. Во-вторых, радионяня в моем кармане заливается тонким, пронзительным плачем, проникающим в сердце. Голова дергается, словно кто-то задействовал ниточку, связывающую меня с Фрейей.

– Давай назад. – Кейт протягивает руку, я спешно возвращаю ей самокрутку.

Неужели я это совершила? Одно дело – бокал вина, но неужели я, воняющая дымом, сейчас стану качать на руках моего ребенка? Что бы сказал Оуэн, если бы узнал?

– Иди к Фрейе, – говорит Кейт. – А я посмотрю, кого там принесло...

Бегу в дом, взлетаю по лестнице в спальню, где оставила Фрейю. Мне совершенно ясно, кто приехал. Тея обещала – и вот она здесь. Мы наконец-то собрались – все четыре.

На лестнице почти сталкиваюсь с Фатимой, выходящей из комнаты, которую уступила ей Кейт. Выдыхаю:

– Извини... там Фрейя...

Фатима пятится, я врываюсь в комнату в самом конце коридора. Кейт предоставила Фрейе колыбель из гнутой древесины, в которой когда-то спала сама. Что до комнаты, она прекрасна; лучше, пожалуй, только студия Кейт, совмещенная со спальней, на самом верхнем этаже. Раньше ее занимал отец Кейт.

Фрейя со сна горячая и потная. Вынимая ее из конверта, ощущаю вязкое тепло. Начинаю укачивать и оборачиваюсь на шум. В дверном проеме стоит Фатима, с интересом оглядывая комнату. Спеша по лестнице, я не заметила важного обстоятельства: Фатима до сих пор полностью одета.

– Я думала, ты спать пошла, Фатима.

– Нет, – качает головой. – Я молилась.

Голос приглушенный – Фатима боится потревожить Фрейю.

– Как странно, Айса. Ты – и вдруг в его комнате.

– Страннее не бывает.

Сажусь на плетеный стул. Фатима переступает порог и снова осматривается. Скошенные окна, темная древесина половиц. Листья из гербария, прицепленные к потолочным балкам, шевелятся на сквознячке. Кейт убрала отсюда почти все вещи Люка. Нет больше ни постеров с рок-группами, ни белья, предназначенного для стирки и сваленного за дверью, ни акустической гитары под окном, ни древнего, аж из семидесятых годов, проигрывателя, что раньше находился у кровати. И все равно присутствие Люка ощущается очень явственно, и комнату иначе, как комнатой Люка, не назовешь, даже в мыслях, хотя Кейт, отправляя меня сюда, и сказала: «Тебе отведу дальнюю спальню».

– Ты с ним общаешься? – спрашивает Фатима.

– Нет. А ты?

– Нет.

Она садится на край кровати.

– Но вспоминаешь его часто, так ведь?

С минуту молчу; тяну время, поправляю на Фрейе чепчик.

– Бывает, – отвечаю лаконично.

Я лгу; хуже того – я лгу Фатиме. Нарушаю главное правило игры в ложь: лги чужим, но не смей лгать своим.

Годами я лгала; лгала до тех пор, пока ложь не въелась в мой мозг, не выросла в мою плоть, не перестала быть чужеродной. Теперь она – часть меня. Я уехала, потому что мне захотелось перемен. Понятия не имею, что случилось с Люком, почему он исчез. Я не сделала ничего дурного.

Фатима молчит, однако ее глаза, по-птичьи яркие, остановились на мне, смотрят пристально. Моя рука, теребившая волосы, бессильно падает. Когда в твоём присутствии лгали столько раз, язык жестов лгущего становится понятен как родной. Тея грызет ногти. Фатима прячет глаза. Кейт каменеет, умудряется отдалиться на недостижимое расстояние, физически оставаясь рядом. А я... я бессознательно тереблю волосы, наматываю пряди на пальцы, словно плету паутину – вязкую, как наша ложь. Когда-то я немало усилий приложила, чтобы избавиться от этой привычки. По сочувственной улыбке Фатимы понимаю: возня с волосами снова выдала меня. Я вынуждена сознаться.

– Я и впрямь часто думаю о нем. Очень часто. Ты тоже?

Фатима кивает:

– Разумеется.

Повисает молчание. Знаю наверняка: нам обоим видятся в эту минуту его ладони – удлиненные, изящные; его сильные пальцы, перебирающие гитарные струны – сначала в неспешной, обстоятельной любовной прелюдии, затем все быстрее, так, что происходит визуальное

слияние пальцев и струн. И глаза, изменчивые по-тигриному – медные при солнечном свете и золотисто-карие в сумерках. Лицо Люка вьелось мне в память, я вижу его столь же отчетливо, как если бы Люк стоял передо мной во плоти. Римский нос, благодаря которому профиль у Люка столь четкий, крупный, выразительный рот; излом бровей, чуть приподнятых у висков, отчего кажется, что он вот-вот нахмурится.

Вздыхаю, и Фрейя, не успевшая толком уснуть на моей груди, вздрагивает.

– Мне уйти? – шепчет Фатима. – А то малышка беспокоится.

– Нет, останься.

Фрейя снова закрыла глазки, отяжелела, расслабилась. Верный признак, что скоро заснет. Кладу ее, полусонную, обратно в колыбель. И как раз вовремя – снизу доносятся звуки шагов, хлопанье дверьми. Лает Верный, а голос Теи звенит на весь дом:

– А вот и я, мои дорогие!

Фрейя вздрагивает, сучит ручками. Движения мягкие, словно это ручки не человеческого младенца, а лучи морской звезды. Кладу ладонь ей на грудь, и веки дочки снова тяжелеют. Вслед за Фатимой выхожу из комнаты Люка и спускаюсь в гостиную, к Тее.

Больше всего из солтенской жизни мне запомнились контрасты. Пронзительно яркое море солнечными зимними днями и непроницаемая тьма по ночам – в Лондоне так темно не бывает. Сосредоточенное безмолвие на уроках рисования и чудовищный шум в буфете, издаваемый тремя сотнями голодных девчонок. И главное – крепость дружеских уз, что возникли всего через пару недель после знакомства и развились в атмосфере, более всего для этого пригодной... А еще – неминуемые враги такой дружбы.

Тем, первым вечером, меня шокировал звонок к ужину. Мы с Фатимой как раз занимались распаковкой чемоданов, двигались почти бесшумно по маршруту «кровать – шкафчик – кровать». Молчание между нами не напрягало, ведь мы успели подружиться и чувствовали себя комфортно друг с другом. По звонку мы выскочили в коридор и наткнулись на звуковую стену. В моей прежней, дневной школе звонки были как звонки, а этот, сам по себе невыносимый, только усиливался по мере того, как мы приближались к буфету.

Там и во время ланча было не протолкнуться, а с тех пор приехало еще немало девочек. Каждая старалась перекричать и подруг, и невменяемый звонок; барабанные перепонки у меня едва не лопались.

Растерянные, мы с Фатимой высматривали, где бы приземлиться. Нас толкали, мимо нас шли – целенаправленно, к конкретным столам, к старым подругам. Внезапно я заметила Тею и Кейт. Они сидели за длинным полированным деревянным столом, лицом к лицу; возле каждой из них было свободное место.

По моему кивку Фатима взяла курс на эти места, но перед нами выскочила какая-то девочка с явным намерением сесть за тот же стол. Для троих места не хватило бы.

– Садись, – сказала я Фатиме с деланой беззаботностью. – Ничего со мной не случится, если я за другим столом поем.

– Еще чего не хватало! – Фатима толкнула меня локтем. – Я тебя не брошу. Должны же где-то быть два места рядом.

Но Фатима не занялась поисками. Нет, она застыла, ибо между Теей, Кейт и незнакомой выскочкой повисло напряжение. Даже на расстоянии мне удалось почуять враждебность, причин которой я не понимала.

– Место ищешь? – приветливо спросила Тея, едва девочка к ней приблизилась.

Потом я узнала, что ее имя – Хелен Фитцпатрик, она вообще-то компанейская девчонка и любительница перегрызть кости ближним. Но вопрос Теи она встретила смешком – горьким, скептическим.

– Лучше возле туалета сидеть, чем с тобой рядом. Ты зачем мне наплела, будто мисс Уэзерби ребенка ждет? Я, как дура, открытку ей послала с поздравлением. Она осатанела! Родителям пожаловалась, меня два месяца под домашним арестом держали!

Тея ничего не ответила, но было видно: она еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. По губам Кейт, сидевшей к Хелен спиной, я прочла: «Десять баллов»; кроме того, Кейт подняла большие пальцы на обеих руках, словно поздравляя Тею.

– Что молчишь? – Хелен снова напирала на Тею.

– Извини. Видимо, я неверно поняла. Может, чего недослышала.

– Неправда! Ты специально наврала. Специально!

– Уж и пошутить нельзя, – сказала Тея. – И потом, я ведь не говорила, что информация точная. Я говорила: слушок прошел. Советую впредь тщательнее проверять факты.

– Факты? Будут тебе факты! Я кое-что знаю про тебя, Тея. У нас в лагере с теннисным уклоном была девочка из твоей прежней школы. Так вот, она объяснила, почему тебя выгнали; правильно сделали, кстати. Потому что ты с головой не дружишь! Скорее бы ты и отсюда с треском вылетела!

Кейт резко поднялась, развернулась к Хелен. Ее лицо, такое лукавое и дружелюбное в поезде, полностью изменилось. Теперь на нем читалась холодная ярость – мне даже стало жутковато.

– Знаешь, Фитцпатрик, в чем твоя проблема? – Кейт подалась к Хелен, заставив ее попятиться. – Ты слишком много времени тратишь на слухи и сплетни. Вот и получила по заслугам.

– Да пошла ты! – отрезала Хелен.

В следующую секунду все три вздрогнули – над ними раздался голос мисс Фарквухарсон.

– За этим столом все в порядке?

Хелен покосилась на Тею, хотела, наверное, наябедничать, но не рискнула и процедила мрачно:

– Да, мисс Фарквухарсон.

– Тея? Кейт? Все в порядке?

– Да, мисс Фарквухарсон, – отозвалась Кейт.

– Вот и славно. Кстати, за вашими спинами стоят две новенькие, не знают, где сесть, и хоть бы одна из вас догадалась позвать их на свободные места. Фатима, Айса, идите сюда, располагайтесь. Хелен, ты тоже у нас неприкаянная?

– Нет, мисс Фарквухарсон, мне Джесс место держит.

– Ну так что же ты здесь делаешь? Ступай займи его.

Мисс Фарквухарсон уже собралась уходить, как вдруг что-то остановило ее. Она даже в лице изменилась. Чуть склонившись над Теей, мисс Фарквухарсон принялась.

– Тея, чем это от тебя пахнет? Надеюсь, ты не посмела курить на школьной территории? В прошлом семестре мисс Уэзерби, по-моему, успешно донесла до твоего сознания: еще раз попадешься с сигаретами – мы звоним твоему отцу и ставим вопрос об исключении.

Повисла долгая пауза. Тея судорожно вцепилась в край стола, переглянулась с Кейт и открыла было рот – но тут, совершенно для меня неожиданно, я заговорила:

– В вагоне для некурящих мест не было, мисс Фарквухарсон. Пришлось тесниться в вагоне для курящих. А там один... один мужчина дымил сигарой. Бедняжка Тея сидела как раз рядом с ним.

– Мы все надышались, мисс Фарквухарсон, – вставила Фатима. – Мне еще повезло – я сидела у окна, – и все равно меня всю дорогу мутило.

Мисс Фарквухарсон уставилась на нас, оценила и мою совсем детскую мордашку с искренней улыбкой, и темные глаза Фатимы – невинные, без намека на лукавство. Мои руки сами собой взметнулись к волосам, но я вовремя стиснула их за спиной, в том положении, в

какое их привела бы смирительная рубашка. После долгих раздумий мисс Фарквухарсон кивнула:

– Крайне неприятный эпизод. Что ж, Тея, закроем тему. Пока. Садитесь ужинать, девочки. Сейчас начнется раздача. Старшие по классам уже готовы.

Мы сели, и мисс Фарквухарсон наконец-то удалилась.

– Черт возьми, – прошептала Тея, под столом нашарила мою ладонь, стиснула до боли. Пальцы у нее были холодные, все еще дрожали от страха. – Не знаю, что и сказать. Спасибо!

– Это не пустые слова, – добавила Кейт, качнув головой. На лице ее читалось облегчение вперемешку с каким-то печальным восхищением. Стальная ярость исчезла без следа. – Вы обе сработали как настоящие профи.

– Зачет по игре в ложь, – произнесла Тея. – Хотите, будем играть вместе? Кейт, ты не против?

Кейт кивнула и с усмешкой добавила:

– Я только за. Кстати, вы по десять баллов заработали.

Очень скоро – буквально в первый вечер – нам с Фатимой открылось, почему все стремятся жить именно в башнях. Итак, я вернулась из общей комнаты, где смотрела фильм. Фатима успела забраться в постель, но не спала – писала письмо на тончайшей бумаге для авиапочты. Волосы, шелковистые, цвета красного дерева, с обеих сторон закрывали ее лицо. Фатима подняла взгляд и зевнула. На ней была пижама – простая майка и розовые фланелевые шортики. Фатима потянулась, майка поехала вверх, отрыв плоский животик.

– Ну что, спать? – спросила Фатима, выпрямляясь.

– Конечно.

Я села на скрипучую кровать, сбросила туфли.

– Голова идет кругом. Столько новых лиц...

– Я тоже совсем разбита, – отозвалась Фатима, откинула с лица темные волосы и сунула письмо в тумбочку. – Как тебя еще на фильм хватило? Я лично после ужина поняла: больше ни единого нового лица не выдержу – и пошла в спальню. Ты не обижаешься?

– Нет, что ты. Только жалею, что сама с тобой не пошла, а зависла в общей комнате. Но я ни с кем не говорила – там был один молодняк.

– А фильм понравился?

– Нет. Чушь какая-то.

Подавив зевоту, я отвернулась к стене и принялась расстегивать блузку. Я-то думала, в спальнях будут хотя бы перегородки – шторы какие-нибудь или ширмы. Начиталась рассказов про частные школы, ага. Шторы только в дортуарах положены, а в спальнях на двоих извольте, девочки, отворачиваться или вовсе выходить, чтобы соседку не смущать.

Уже одетая в пижаму, я сунула руку в тумбочку, нашаривая пакет с туалетными принадлежностями. Неожиданный стук заставил меня резко оглянуться. Стучали не в дверь.

– Фатима, ты стучишь, что ли?

Она отрицательно качнула головой.

– Я думала, Айса, это ты стучала. Но нет – стук от окна долетел.

Шторы были задернуты. Мы обе поднялись и прислушались. Глупо было в этом сознаваться, но нас обеих охватил страх. Я хотела уже развеять его смехом и остротой насчет Рапунцель, но стук повторился, на этот раз громче. Мы ойкнули и нервно захихикали. Теперь было совершенно ясно: стучат в мое окно. Я шагнула к нему и отдернула штору. Не знаю, что я ожидала увидеть – но никак не бледное лицо, прильнувшее к стеклу с наружной стороны, окруженное тьмой, как ореолом. Около минуты я таращилась на это лицо в полной растерянности, а потом вспомнила виденное из микроавтобуса: черные плети пожарных лестниц, обвивающие башни, подобно плющу. Я всмотрелась пристальнее. За окном была Кейт. Улыбаясь, она

странно вертела кистью руки, и до меня дошло: Кейт хочет, чтобы я открыла окно. Задвижка была ржавая, поддавалась туго – пришлось повозиться.

– Наконец-то, – выдала Кейт и махнула на хлипкую лестничную площадку, чернильно выделяющуюся на фоне темного моря. – Ну, и чего мы ждем?

Я оглянулась. Фатима жестом изобразила согласие, я стянула с кровати одеяло, вскарабкалась на подоконник и спрыгнула в прохладную осеннюю тьму.

Ночной воздух был тих, всюду царило безмолвие. Мы с Фатимой на цыпочках шли за Кейт по металлическим ступеням пожарной лестницы. Волны накатывали на галечный пляж, разбивались с шорохом – этот шорох, а заодно и причитания чаек, доносила до нас ночная тьма.

Тея ждала на лестничной площадке, на самом верху, за последним витком лестницы. Футболка еле прикрывала ее стройные бедра.

– Давай расстилаю одеяло, – скомандовала Тея, и я послушалась.

Мы устроились, и Кейт заговорила.

– Итак, теперь вы в курсе, – начала она, заговорщицки улыбаясь. – Наша с Теей тайна – в ваших руках...

– А вот чем мы можем отплатить за ваше молчание, – продолжила Тея, доставая бутылку виски «Джек Дэниелс» и пачку «Силк Кат». – Больше у нас ничего нет. – Вы курите, девочки?

Тея постучала по пачке и протянула ее нам. В картонке болталась единственная сигарета.

– Я не курю, – сказала Фатима. – Но от виски не откажусь.

Кейт передала ей бутылку, и Фатима сделала основательный глоток, затем вздрогнула всем телом, вытерла губы и улыбнулась.

– А ты, Айса? – Тея по-прежнему держала передо мной сигарету.

До этого я не курила. Пару раз пробовала в лондонской школе. Мне тогда не понравилось, вдобавок я прикинула, как рассердятся родители, особенно отец. Сам он в юности курил, потом бросил, но периодически срывался. Срывы заканчивались самоедством, которое отец умирял сигарами. Но здесь, в Солтене... здесь я была не я, не та ответственная девочка, что всегда делает домашнее задание и пылесосит в доме, прежде чем идти к подружкам. Здесь я могла вести себя как угодно. Могла стать совершенно другим человеком.

– Спасибо, – произнесла я и взяла сигарету.

Кейт щелкнула зажигалкой «Бик», я подалась вперед, к ее пальцам, в которых, как в чаше, светился огонек. Мои волосы упали Кейт на смуглую руку, словно я к ней ластилась. Я затаивалась осторожно, моргая от дыма и надеясь не закашляться.

– Еще раз спасибо, – сказала Тея. – За то, что прикрыли меня в столовой. Не представляю, как бы я без вас выкручивалась. Если я и отсюда вылечу, отец меня точно запрет.

– Да ладно, проехали, – выдохнула я.

Дым, похожий на распушенную шерстяную нить, потянулся вверх, поплыл над крышами, прямо к бесподобной, белоснежной луне. До идеального круга оставалась всего одна фаза. Проводив дым глазами, я добавила:

– А что ты там говорила насчет баллов, Кейт?

– У нас особая система. Десять баллов, если твоему вранью полностью поверили. Пять, если ты пустила слухок или прикрыла другого игрока. Пятнадцать, если удалось поставить на место какую-нибудь выскочку. Баллы, понимаете, сами по себе награда. Чтобы играть было интереснее.

– В похожую игру мы в одной моей прежней школе играли, – добавила Тея и с наслаждением затянулась. – Новеньких дурачили. Смысл был в том, чтобы заставить их что-нибудь идиотское вытворить. Например, сказать, будто на вечерние занятия надо брать с собой махровое полотенце – ну, чтобы потом сразу в душ и быстрее в постель. Или убедить их, будто на

прогулке первогодкам разрешено двигаться только по часовой стрелке. Всякая фигня, короче говоря. Ну и вот, когда я сюда угодила, я как раз и оказалась новенькой. И подумала: вот они, бывалые, сейчас у меня попляшут. На сей раз врать буду я, а они – уши развешивать. Только я не новеньких дурила, нет. Новенькие – они беззащитные. Я сразу занялась теми, за кем власть, – училками, привилежками и заводилами. Которые слишком выпендриваются.

Тея выдохнула целый клуб дыма.

– А когда я соврала Кейт, она не взбесилась и не стала мне грозить. Она просто рассмеялась. И я поняла: Кейт не такая, как другие.

– И вы тоже – вы не из их лагеря, – доверительно добавила Кейт. – Я права?

– Права, – подтвердила Фатима.

Она глотнула еще виски и улыбнулась. Я ограничилась кивком и снова поднесла к губам сигарету, сделав еще одну затяжку, на сей раз более глубокую; почувствовала, как дым проник в легкие, в кровь. Рука с сигаретой дрожала, когда я решила опереться на витой металлический поручень. Я надеялась только, что девочки ничего не заметили. Тея смотрела пристально, и меня не отпускало ощущение, что ее-то не обманешь, она и мысли мои читает, и понимает, как тяжело прикидываться заядлой курильщицей. Но Тея не стала меня дразнить, только протянула мне бутылку виски.

– Запей.

Гласные Тея произносила странно – резко и звонко, словно стекло била. Сообразив, что командует, она улыбнулась и смягчила тон:

– У тебя день выдался непростой. Надо расслабиться.

Я подумала о маме: как она спит сейчас под больничным одеялом, а яд капля за каплей проникает ей в вены; о брате, который остался один в новой комнате в Чартерхаусе; об отце, который едет по ночному шоссе в Лондон, к нашему пустому дому. Нервы отозвались стоном, словно скрипичные струны. Я кивнула, потянулась за бутылкой.

Виски обожгло рот, больших усилий стоило не закашляться. Я проглотила пламя, почувствовала, как огненный шар скользнул в желудок и ниже, как напряжение, терзавшее меня, чуть-чуть поддалось власти этого пламени. И протянула бутылку Кейт. Она взяла виски спокойно, хлебнула смело, не так, как мы с Фатимой, сделав два-три полноценных глотка – быстро, без пауз, без колебаний, словно не виски пила, а молоко. Затем вытерла рот, сверкнула в темноте глазами.

– За всех нас! – воскликнула она, высоко держа бутылку, наблюдая, как на стекле играет лунный свет. – Чтобы нам старости не знать.

Из трех подруг дольше всего я не общалась с Теей. Мысленным взором вижу девчонку семнадцати лет, с тонким лицом, с волосами, подобными штормовому фронту, бог весть откуда взявшемуся, ворвавшемуся в безоблачный день. Да, такова Тея, которая мне помнится.

На очередном повороте винтовой лестницы мой взгляд напарывается на акварель Амброуза: Тея, купающаяся в Риче. Амброуз уловил, передал с изумительной точностью, как солнечный свет дробится в легкой ряби, как играет на плечах и руках Теи. Ее голова закинута назад, мокрые волосы не отвлекают внимание от лица, но лишь подчеркивают, насколько оно прекрасно.

Держа в уме эту картинку, минуя последний лестничный виток. И вот она, Тея, передо мной.

Казалось бы, хорошеть ей уже некуда – а она похорошела. Лицо стало еще тоньше, черты заострились, лишившись нежной девичьей размытости. Волосы пострижены очень коротко. Впечатление, будто красота Теи очищена от всего наносного – от водопада волос, окрашенных в два тона, от косметики, от бижутерии. Повзрослевшая Тея буквально завораживает. Она еще похудела, если не сказать – отошла. И все же это прежняя Тея.

Вспоминаю тост, произнесенный Кейт в ту, первую ночь: «Чтобы нам старости не знать...»

Выдыхаю:

– Тея.

В следующий миг я уже вишу на ней, и обнимаю ее, и чувствую каждую косточку. С другого боку повисла хохочущая Фатима, и слышится голос Теи:

– Вы меня задушите! Смотрите не запачкайтесь! Паршивец таксист высадил меня на полдороге, а там же глина. Думала, по шею увязну...

От Теи пахнет сигаретами... и спиртным. Ее дыхание пропитано алкогольными парами, в первое мгновение их можно спутать с приторным запахом перезрелых фруктов. Тея смеется, прячет лицо в мои волосы, запах обволакивает и их тоже. Наконец мы размыкаем объятие. Тея подходит к столу возле окна.

– Не верится, что вы обе стали мамочками.

Улыбается она в своей прежней манере – немножко кривя рот, словно знает некую тайну.

Тея выдвигает стул возле своего давнего, законного места. Да, мы всегда рассаживались в определенном порядке, чтобы полуночничать за сигаретами и алкоголем.

Тея достает сигарету марки «Собрание» – черную, с золотым концом.

– На месте правительства я бы запретила размножаться мерзавкам вроде вас, – выдает Тея, держа сигарету в уголке рта.

– И была бы права, – подхватывает Фатима. – Ровно то же самое я сказала Али, когда мне принесли новорожденную Надию. А потом спросила: «Ну и что мне теперь делать?»

Кейт протягивает Тее тарелку и вскидывает бровь.

– Есть будешь? Кус-куса целая гора осталась.

Тея только головой качает:

– Не буду. Лучше выпьем. И очень хочется узнать, на кой ты нас так спешно позвала.

– У нас есть вино... вино... и снова вино, – говорит Кейт, косясь на колченогий туалетный столик. – Да, еще есть вино! Живем!

– Эх, милые мои, сдали вы, ничего не скажешь. Ладно, раз все так безнадежно, выпьем хоть вина, – отзывается Тея.

В большущий сине-зеленый стакан с трещиной Кейт выливает добрую треть бутылки, передает стакан Тее. Та смотрит сквозь вино и стекло на пламя свечи, оценивает игру багряных бликов.

– За нас, – выдает наконец Тея. – Чтобы нам старости не знать.

А мне за это пить не хочется. Мне как раз хочется дожить до старости. Ради того, чтобы увидеть Фрейю взрослой, я и на морщины согласна. Каково, интересно, ощущать их кожей?

Но от комментариев меня спасает Тея. Не донеся стакан до губ, она вдруг замечает, что у Фатимы в бокале – лимонад.

– Стоп! Стоп! Это еще что за фигня? Фатима, тосты лимонадными не бывают. Или твой муженек тебя по третьему разу обрюхатил?

Фатима отрицательно качает головой, улыбается и указывает на хиджаб, покрывающий ее плечи:

– Времена меняются, Тея. Думаешь, это просто шарф, для красоты? А это...

– Ай, да успокойся! Наличие хиджаба в монашки не записывает. Знаешь, сколько в наше казино мусульман ходит? Толпы! И один из них прямо мне сказал: джин с тоником в исламе считается не алкоголем, а лекарством, потому что содержит хинин.

– Во-первых, в теологических кругах подобные советы подпадают под определение «ересь», – произносит Фатима. Ее губы по-прежнему растягивает улыбка, но в нарочито беззаботном тоне звенит металл. – А во-вторых, посетительница казино, будь на ней хоть три

хиджаба разом, не имеет отношения к исламу, ибо в Коране по поводу азартных игр все очень четко прописано.

Повисает молчание. Переглядываюсь с Кейт и вздыхаю. Впрочем, сказать мне нечего, на языке вертится всего одна фраза: «Заткнись, Тея».

– Раньше ты не была такой ханжой, – наконец бросает Тея и делает глоток вина.

Кейт каменеет, я это чувствую. Зато Тея снова улыбается своей фирменной кривоватой улыбкой.

– Поправьте меня, девочки, если я ошибаюсь. Только очень мне помнится одна игра... в покер с раздеванием... Или в ней участвовала совсем другая мисс Квуреши?

– А ты раньше не была такой стервозиной, – парирует Фатима. Впрочем, в голосе сквозит не злоба, а веселье.

Фатима слегка толкает Тею локтем, Тея смеется, и мы все видим ее настоящую улыбку – широкую, открытую, исполненную самоиронии. Эта улыбка вспыхивает, похоже, вопреки желанию самой Теи.

– Врушка, – дразнит она, все еще улыбаясь, и напряжение за столом спадает, словно провод заземлили.

Без малейшего понятия о времени поднимаюсь из-за стола и иду в ванную. Наверное, сейчас далеко за полночь.

На обратном пути заглядываю к Фрейе. Малышка мирно спит, полностью расслабившись, по-паучьи раскинув ручки и ножки.

На винтовой лестнице замираю и сверху смотрю на подруг, сидящих за столом. Эффект дежавю силен как никогда. Фатима, Тея и Кейт заняли свои прежние места, подались друг к другу, словно заговорщицы; на лицах пляшут тени от свечи, что стоит посреди стола. Отсюда, с лестницы, кажется, что им снова по пятнадцать. Ощущение, будто слушаю заевшую пластинку, которая вновь и вновь проигрывает эхо наших прежних разговоров. Сгущаются, обрезают объем призраки прошлого: Амброуз, Люк... Сердце сжимается, боль почти физическая, и на миг – на краткий и мучительный миг – передо мной возникает сцена, которую я так старалась забыть.

Закрываю глаза и ладонями пытаюсь стереть видение. Действительно, после немногих моих усилий внизу, за столом, снова лишь Тея, Фатима и Кейт. Но воспоминание никуда не делось: труп на ковре, четыре искаженных болью и недоумением бледных, зареванных лица...

Холодное прикосновение к руке заставляет меня подпрыгнуть. С колотящимся сердцем озираюсь, вперяю взгляд в темноту, где растворяется верхний пролет. Не знаю, кого ожидаю увидеть – в доме только мы. Наверное, напугал меня призрак, может, даже мой собственный – мы, прежние, до сих пор смотрим с этих стен.

Слышится приглушенный смешок Кейт, и до меня доходит. Это не призрак, это Верный тронул мою руку холодным и влажным носом и теперь сам не рад – во всяком случае, вид у него сконфуженный.

– Это он пытается сказать, что давно пора баиньки, – объясняет Кейт. – А еще он надеется на ночную прогулку.

– Прогулка... так ску-у-учно, – тянет Тея, выуживает очередную сигарету, зажимает меж губ золоченый кончик. – Искупаться надо, вот что.

– А я купальник не взяла.

Говорю это прежде, чем улавливаю значение вскинутой брови Теи, лукавого выражения ее лица.

– Нет-нет, ни в коем случае. И вообще, Фрейя здесь. Как я ее оставляю?

– Просто не заплывай слишком далеко, – советует Тея. – Кейт! Тащи полотенца!

Кейт встает, залпом допивает вино, идет к шкафу и достает стопку старых протертых полотенец. Когда-то они были яркими, сейчас оттенки перешли в разряд пастельных. Одно полотенце Кейт бросает Тее, второе – мне. Фатима поднимает руки, словно для защиты.

– Спасибо, но... только...

– Да чего ты стесняешься? – растягивая слова, произносит Тейя. – Здесь мужчин нет.

– Все так говорят. А потом вываливается из паба целая компания пьяных, и... Нет уж, спасибо. Я на мостках посижу.

– Как знаешь, – пожимает плечами Тейя. – Айса, Кейт! Ну вы-то хоть со мной? Вы-то меня не кинете?

И Тейя начинает расстегивать рубашку. Я и раньше заметила: бюстгальтер она не носит.

Мне не хочется раздеваться. Тейя, конечно, сейчас начнет высмеивать мою застенчивость; а я и правда стыжусь послеродовой дряблости тела, налитых молоком грудей с синими венами, растяжек на обвислом животе. Вот если бы Фатима тоже согласилась купаться – тогда другое дело. А так мы будем голые вдвоем – Кейт с Теей стройные, подтянутые, не хуже чем семнадцать лет назад, и я – рыхлая кормящая мамаша. Но от купания не отвертеться, иначе насмешки Тейи гарантированы. Да мне и самой хочется в воду. И причина – не только в том, что шея под волосами вспотела, а платье липнет к лопаткам. Нет, все куда сложнее. Мы наконец-то вместе, все четыре. Я окунусь не в Рич, а прямо в прошлое.

Беру полотенце и шагаю за порог. Никогда у меня не хватало отваги первой влезть в воду. Удерживал дурацкий суеверный страх – вдруг на глубине таится нечто враждебное? На всех разом, рассуждала я, это нечто напасть не посмеет.

Нет, первыми, наперегонки, мчались по мосткам Тейя и Кейт; прыгали в воду с визгом, метили в то самое место, где течение быстрее всего. Сейчас я тоже боюсь – только не водяных существ, а собственного тела.

Платье у меня из податливой хлопчатобумажной ткани. Снимаю его рывком, расстегиваю бюстгальтер и стягиваю трусы. Глотнув воздуха, ныряю – пока не прибежали остальные, пока не разглядели меня, мое дряблое тело.

– С ума сойти! Айса в кои-то веки первая окунулась!

Выныриваю, отчаянно плещусь – вода холодная. Воздух пропитан липкой духотой, но сейчас прилив, поэтому губам солоно.

Тейя выходит на мостки. Плыву, почти задыхаясь от холода, впрочем, тело быстро адаптируется.

Разглядывая украдкой раздетую Тейю, понимаю: ее тело тоже изменилось, и, пожалуй, не менее существенно, чем мое. Тейя всегда была худощавой, теперь же она близка к анорексии. Живот впал, груди висят, как полупустые мешочки, ребра выпирают. Лишь одно остается прежним – Тейя не ведает слова «смущение». Вот она стоит на самом краю мостков, сзади освещенная фонарем; стоит и отбрасывает на воду длинную, неестественно тонкую тень. Стоит, ничуть не стыдясь наготы.

– С дороги, куриные ноги! – кричит Тейя.

И ныряет. Входит в воду без брызг, как профессионал. Восхитительный прыжок. И в то же время безумный, суицидальный. Потому что Рич не достаточно глубок, потому что в воде чего только нет – и коряги, и остатки снастей, и колышки старых причалов, и верши для ловли крабов, и всякий мусор, пригнанный течением из верховий. Я уж не говорю о непостоянстве донного рельефа, о наносах и промоинах, созданных временем и морским течением. Тейя запросто могла сломать себе шею. Кейт это отлично понимает: она застыла в ужасе, прижав ко рту руки. Но Тейя выныривает и по-собачьи встряхивает стриженной головой.

– Чего стоим, кого ждем? – обращается она к Кейт.

– Психованная!

Кейт сначала выдыхает с облегчением и только потом выкрикивает это слово. В голосе, кроме страха, еще и нечто близкое к ярости.

– Там, как раз посередине, песчаная отмель. Ты убиться могла.

– Ну не убилась же, – парирует Тея.

Глаза у нее горят, дыхание прерывистое от холода. Рука, манящая Кейт в воду, покрыта гусиной кожей.

– Давай к нам! Прыгай в воду, женщина!

Кейт колеблется. Целую минуту я думаю, что знаю, какие именно картины рисует ее воображение. Те же, что и мое: в неглубокую яму просачивается вода, обрушивая песчаные края.

Но вот Кейт напрягает спину. В ее осанке чувствуется готовность защищаться.

– Ладно.

Она стягивает майку, вылезает из джинсов, отворачивается, чтобы расстегнуть бюстгальтер. Перед прыжком берет бутылку и прикладывается к горлышку. Тянет, тянет вино. И поворот ее головы, и судорожные сокращения хрупкого горла девически-трогательны, и я вижу прежнюю Кейт – на пожарной лестнице Солтен-Хауса, с бутылкой виски, отражающей лунный свет.

В следующее мгновение бутылка летит на грудь одежды, а Кейт группируется и делает прыжок. Волны, поднятые ее телом, касаются моего тела; Кейт – в футе от меня. Она погружается словно бы не в воду, а прямо в лунный свет. Жду: сейчас вынырнет. Однако Кейт не появляется. Пузырьков не видно, вообще ничего толком не видно из-за лунных зайчиков на воде.

– Кейт! – кричу я.

Идут секунды, и страх нарастает, сгущается под моими ладонями, колотящими по воде. Кейт не выныривает.

– Тея, куда Кейт подевалась?

Вдруг что-то вцепляется мне в лодыжку и тянет, тянет вниз, на дно. Глотнуть воздуха успеваю, вскрикнуть – нет. Я уже под водой, пытаюсь высвободиться. Хватка размыкается, я выныриваю, отчаянно дышу, моргаю, тру глаза – слизистую щиплет от соленой воды – и вижу рядом с собой Кейт. Она смеется, обнимает меня и поддерживает на поверхности.

– Ах ты, змея! Выдра!

Не пойму, чего мне хочется больше – обнять Кейт или утопить ее.

– Предупреждать надо!

– С предупреждением весь смысл пропадает, – хохочет Кейт. У нее сияют глаза.

На середине потока, там, где течение сильнее всего, где глубина максимальна, Тея ложится на спину, работает руками и ногами, чтобы остаться на месте, не дать реке унести себя.

– Плывайте ко мне! – зовет она. – Здесь супер!

Фатима наблюдает с мостков, мы с Кейт плывем к Тее. Такое впечатление, будто она зависла не в воде, а в звездном сиянии. Мы тоже ложимся на спины; я оказываюсь между Кейт и Теей, обе поддерживают меня, а я, раскинув руки, поддерживаю их. Наши тела, прозрачные от лунного света, образуют нечто вроде созвездия; наши руки переплетены, течение разрывает эту связь, но мы не дремлем – снова подплываем друг к другу, снова сцепляемся.

– Фати, давай к нам! – кричит Тея. – Почувствуешь, до чего классно.

Она права. Первый шок от погружения давно миновал. Вода, пронизанная и словно согретая сиянием почти полной луны, ласкает, поддерживает, будоражит. Если нырнуть и посмотреть на луну сквозь толщу мутно-молочных вод, откроется дивное зрелище: луна покажется разбитой на бесчисленные осколки.

Выныриваю. Фатима уже приблизилась к краю мостков, села, трогает воду рукой, на лице тоска.

– Без тебя все не то, Фати, – умоляет Кейт. – Давай прыгай. Тебе же самой хочется...

Фатима качает головой, встает. Наверное, собралась идти в дом. Нет. Ничего подобного. Она делает глубокий вдох – и прыгает, как была, одетая. Длинный конец хиджаба, подхваченный резким движением, подобен птичьему крылу. Фатима оказывается в воде с чавкающим звуком.

– Ай да Фати! – кричит Тея. – Прыгнула все-таки!

Мы устремляемся к Фатиме и почти истерически хохочем, и она хохочет, пытаясь отжать мокрый хиджаб и повисая на нас, потому что отяжелевшее платье тянет ее ко дну.

Мы снова вместе.

И на краткий миг для нас четверых лишь это имеет значение.

Уже далеко за полночь. Мы ругались, царапая голени о подгнившие доски мостков, со смехом отжимали волосы и растирали тела, покрытые гусиной кожей. Фатима переодевалась, качая головой, как бы сама в изумлении от собственной безрассудности. И вот мы, полусонные, в пижамах, валяемся на потертом диване, обнимаемся, время от времени обмениваясь тычками и толчками, болтаем о прежней жизни. Рефреном звучит «А помните, как...».

Фатима распустила мокрые волосы и теперь выглядит моложе – почти совсем как та прежняя девочка-птичка. Не верится, что она – замужняя женщина, мать двоих детей. Она смеется в ответ на сказанное Кейт, и тут начинают бить старинные напольные часы. Два гулких удара – и Фатима оглядывается, меняется в лице.

– Вот это да! Два часа ночи! Мне нужно хоть немного поспать.

– Эх ты, слабак! – упрекает Тея.

Сама она с виду совсем не усталая. Кажется, Тея могла бы еще несколько часов бодрствовать – глаза у нее так и сверкают над кромкой бокала с вином.

– Вчера я на смену только после полуночи заступила!

– С тобой все ясно, – парирует Фатима. – А вот некоторые годами приучали себя к адекватному режиму, работают с девяти до пяти и растят двух дошколят. Мне это переключение очень трудно далось. Кстати, Айса тоже зевает!

Все смотрят на меня. Стараюсь подавить зевок, хотя рот уже открылся и челюсти пришли в движение. Машу рукой и смеюсь.

– Что тут скажешь? Утрата выносливости совпала у меня с утратой талии. А вообще Фатима права. Моя Фрейя просыпается в семь. Хотелось бы хоть немного поспать перед кормлением.

– Значит, на боковую, – произносит Фатима.

– Подождите.

Голос Кейт неожиданно тих, и я вдруг соображаю: она давно уже не произносила ни слова. Фатима, Тея и я – мы втроем в последние пару часов выкапывали из памяти смешные эпизоды, розыгрыши, – а Кейт отмалчивалась, словно стерегла свои мысли.

Одновременно оборачиваемся. Кейт сидит, поджав ноги, в кресле, волосы падают на щеку, но нечто в выражении ее лица заставляет нас замереть. В животе у меня – противное, тягостное нытье.

– Что такое? – почти испуганно спрашивает Фатима.

Снова садится – только на сей раз на край дивана; тербит сырой хиджаб, висящий на каминной решетке.

– В чем дело, Кейт?

– Я... – Кейт отводит взгляд, пытается заговорить снова: – Боже. Не представляла, что будет так трудно...

Мне сразу ясно, о чем пойдет речь. И я вовсе не уверена, что хочу это услышать.

– Давай, Кейт, – говорит Тея. В ее голосе – жесткость и напор. – Колись. Мы достаточно ходили вокруг да около, пора открыть причину.

«Причину чего?» – могла бы спросить Кейт. Но в этом нет необходимости. Мы все знаем, о какой причине говорит Тея. О причине нашего приезда. О значении сообщения, отправленного каждой из нас. О смысле трех слов: «Вы мне нужны».

Кейт делает вдох и поднимает глаза, которые при свете лампы больше похожи на темные провалы. Однако не заговаривает, нет. Она встает с кресла и подходит к камину, к корзине с газетами, оставленными на растопку. Верхняя газета – «Солтенский обозреватель». Молча подруга берет ее в руки. Страх, который она столь успешно подавляла вином, маскировала возней в воде – этот страх теперь искажает ее лицо. Газета датирована вчерашним днем. Заголовок на первом развороте прост:

В РИЧЕ НАЙДЕНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОСТАНКИ

Правило второе: стой на своем

– Твою мать!

Голос, нарушивший тишину, принадлежит Фатиме. Не ожидала я от нее такой резкости.

– Твою мать! – повторяет Фатима.

Подхватываю газету, выпавшую из рук Кейт, читаю: *«Для идентификации останков, обнаруженных на северном берегу Рича, вблизи деревни Солтен, вызвана полиция...»*

Дрожь моих рук так сильна, что строчки прыгают перед глазами, обрывочные фразы не складываются в одно целое. *«Представитель полиции подтвердил... фрагменты человеческого скелета... свидетель, имя которого не разглашается в интересах следствия... подверглись сильным разрушениям... судебная экспертиза... местные жители шокированы... территория оцеплена»...*

– Они уже... – Тея – что совсем не в ее стиле – давится фразой, начинает сначала: – Они знают...

Следует пауза. Договариваю за Тею:

– Они уже знают, кто это? – Мой голос тверд, тон холоден. Я смотрю на Кейт, сжавшуюся под бременем вопросов. Газета трепещет, словно осенний лист на ветру. – Знают, что это тело?..

Кейт качает головой. Нет нужды озвучивать нашу общую мысль: «Пока не знают»...

– Мало ли, чьи это останки? Мало ли, кто когда утонул в Риче? – произносит Тея. Вдруг лицо ее перекашивается. – Черт, кого я обманываю?!

Тея бьет рукой по столу, забыв, что в этой руке у нее бокал с вином. Бокал рассыпается на осколки.

– Тея! – шепчет Кейт.

– Хватит истерить, – сердито говорит Фатима. Делает шаг к раковине, берет тряпку и щетку и бросает через плечо: – Ты не поранилась?

Тея, сильно побледневшая, качает головой, позволяет Фатиме осмотреть руку, вытереть с запястья капли вина. Поневоле Фатима отворачивает длинный рукав, и в свете лампы я вижу то, чего не видно было при луне, – белые шрамы, давно зажившие, но все-таки четкие. Не могу сдержаться – вздрагиваю и отворачиваюсь. Потому что помню время, когда эти шрамы были свежи.

– Думать надо, что делаешь, – упрекает Фатима, но в ее голосе нежность и волнение. Фатима убирает с запястья Теи прилипшие осколки.

– Я снова это не выдержу, – стонет Тея и трясет головой. Теперь видно: она пьяна в дым, просто до сих пор ей удавалось это скрывать. – Нет, не выдержу. Знаете, как в казино строго? Если хоть малейший слушок просочится, а тем более если полицейское расследование будет – все, кранты. Уволят с треском...

Голос Теи надламывается. Она готова разрыдаться.

– Могут отобрать лицензию на занятие игорным бизнесом. Без работы останусь, без права восстановления.

– Мы все в одной лодке, – перебивает Фатима. – Кому нужен практикующий врач с багажом вроде моего? Или, думаешь, Айсу оставят в адвокатах, если все вскроется? Нам с Айсой грозит потерять не меньше, чем тебе.

О Кейт она не упоминает. В этом нет нужды.

– Что будем делать? – наконец-то спрашивает Тея. Обводит взглядом меня, Кейт, Фатиму. – Кейт, зачем ты нас сюда вызвала?

– Вы имеете право знать, – отвечает Кейт. Голос ее дрожит. – А как еще я бы вам сообщила? Каким надежным способом?

– Поступим, как должны были поступить семнадцать лет назад, – горячо и уверенно говорит Фатима. – Разработаем легенду прежде, чем начнутся допросы.

– Не надо ничего разрабатывать. Легенда та же, что и была, – произносит Кейт. Забирает у меня газету, складывает так, чтобы не видеть заголовка, проводит по сгибу ногтями. Руки у нее трясутся. – Мы ничего не знаем. Ничего не видели. Ничего не слышали. Нам только это и остается – стоять на своем. Держаться прежней легенды.

– А сейчас-то как мы поступим? – Тея повышает голос. – Здесь проживем? Разведемся? Фатима на машине, может увезти. В Солтене нас ничто не держит.

– Никаких «разведемся», – произносит Кейт. В голосе звучит безапелляционность, столь хорошо мне знакомая. Спорить бесполезно. – Вы три остаетесь, потому что, по моей официальной версии, приехали на торжественный ужин. Который будет завтра.

– Что?

Тея хмурится. Ну конечно – про вечер встречи знаю только я.

– Какой еще ужин?

– Тот, который всегда бывает на вечере встреч выпускниц Солтен-Хауса.

– Мы ведь не приглашены, – вступает Фатима. – Разве они нас пустят? После тех событий?

Кейт пожимает плечами, проходит мимо раковины к доске для заметок, к которой приколплены четыре белоснежные глянцевые открытки-приглашения.

– Вот, полюбуйтесь.

Кейт отцепляет кнопку и машет приглашениями.

Ассоциация выпускниц Солтен-Хауса имеет честь пригласить на ежегодный летний бал...

Далее следует большое пустое пространство. Имя каждой из нас написано синей ручкой:

Кейт Эйтагон

Фатиму Чодхри (урожденную Квуреши)

Тею Уэст

Айсу Уайлд

Кейт держит приглашения веером, как игральные карты, словно предлагает нам выбрать по одной карте из колоды и сделать ставки.

Но я смотрю не на имена и не на золоченые буквы основного текста – я смотрю на дырочки, оставленные в каждой открытке острием кнопки. Очень символично. Как ни старайся освободиться, итог один – мы прикованы к нашему прошлому.

Рисование в Солтен-Хаусе было предметом факультативным. Официально не входило в категорию дисциплин, «обогащающих учебный процесс», и постоянно посещали рисование лишь те девочки, которые собирались сдавать по нему экзамен. Меня это не касалось. Минус несколько недель, и я успела привыкнуть к школьному распорядку прежде, чем попала в студию и познакомилась с Амброузом Эйтагоном.

Как и в большинстве закрытых школ, в Солтене ученицы группировались по домам, каждый из которых носил имя какой-нибудь греческой богини. Мы с Фатимой попали в «Артемиду», потому что «обогащение учебного процесса» постигло нас одновременно. Морозным октябрьским утром, сразу после завтрака, мы метались по школьному двору, спрашивая всех встречных: «Как пройти на рисование?»

– Да где же эта студия, чтоб она сгорела! – в десятый раз воскликнула Фатима, а я ото-звалась:

– Без паники, Фати, мы ее отыщем.

Едва эти слова в восьмой раз слетели с моих губ, как мимо нас, в сторону математического кабинета, пробежала девочка с большущей папкой бумаги для акварели.

– Постой! – крикнула я. – Ты на рисование бежишь, да?

Она повернула к нам покрасневшее лицо, пропыхтела:

– Да. Опаздываю. Чего надо?

– Мы ищем студию. Можно пойти с тобой?

– Можно. Только пошевеливайтесь.

Девочка юркнула в арку в изгороди из снежнотополы, отворила деревянную дверь, раньше нами не замеченную. За дверью, вполне предсказуемо, обнаружилась лестница (никогда – ни до, ни после Солтена – я в такой отличной физической форме не была). Так вот, мы пустились бежать вверх по ступеням и преодолели два, если не три пролета, прежде чем я задалась вопросом: а куда мы вообще направляемся?

Наконец мы очутились на крохотной лестничной клетке перед стеклянной дверью. Девочка, что привела нас, дернула дверь, натянув заржавевшую пружину, и мы вступили в галерею.

Стены были низкие, а потолок как таковой вообще отсутствовал. Перекрещенные балки уходили прямо под треугольную крышу. Взгляд, оценивающий высоту этой крыши, неминуемо наткнулся на бесчисленные этюды, что подсыхали, прикрепленные к балкам. Пространство было занято различными предметами – вероятно, их использовали для натюрмортов. Были здесь и пустая птичья клетка, и сломанная люкья, и чучело мартишки с мудрыми, скорбными глазами.

Солнце проникало сюда только сквозь окна верхнего света. Я поняла: студия расположена под самой крышей, в мансарде, над кабинетом математики. Потому и обычных окон нет – стены для них слишком низки. Все помещение, плотно уставленное деталями натюрмортов, увешанное картинами, залитое бледным позднеосенним светом, являло удивительный контраст с другими классными комнатами – белостенными, почти стерильными, по-казенному пустыми. Я буквально замерла в дверном проеме, щурясь и моргая.

– Амброуз, я тут запуталась... – пропищала какая-то второклашка.

Амброуз? Я вытаращила глаза. В Солтене преподавали в основном женщины, и к каждой из них следовало обращаться «мисс», независимо от фамилии и семейного положения. Ни одна из учительниц не позволяла называть себя просто по имени.

Кого же столь фамильярно называли Амброузом? Я оглядела студию, и тут-то мне впервые предстал он – Амброуз Эйтагон.

Давно, еще до встречи с Оуэном, я рассказывала о нем своему тогдашнему парню. Описать Амброуза не получалось, хоть тресни. Фотографии у меня сохранились, но на них запечатлен обычный человек среднего роста, с жесткими и довольно редкими темными волосами, сутулый от постоянного корпения над этюдами. Как и у Кейт, его лицо было тонким и подвижным, а годы пленэра и необходимость щуриться на ярком солнце изрядно добавили ему морщин. Парадоксальным образом с морщинами Амброуз Эйтагон казался не старше, а моложе своих сорока пяти лет. Грифельно-синие глаза (передававшиеся по наследству Кейт) были единственной незаурядной особенностью внешности Амброуза – но фотографии не передают их живости, столь мне запомнившейся. А ведь Амброуз и минуты не сидел спокойно. Он был как шарик ртути. Память подбрасывает сотни кадров, в которых Амброуз пишет красками либо рисует углем, смеется, скручивает папиросу, отодвигает стакан сухого красного вина (оно хранилось в двухлитровых бутылках в кухне под умывальником; никто, кроме Амброуза, не мог пить такую кислятину). А главное – всеми, буквально всеми его движениями, всеми действиями руководила любовь.

Лишь такой крупный художник, как Амброуз Эйтагон, мог статьместилищем столь огромного запаса жизненных сил, совместить в себе столько противоречий – каменную сосредоточенность и беспокойную энергичность, а еще – загадочный магнетизм при весьма ординарной внешности. Что интересно – он так и не написал автопортрета. По крайней мере, я о таком не слышала. Есть в этом своеобразная ирония, ведь Амброуз рисовал буквально все – птиц над рекой, солтенских девчонок, хрупкие, неброские растения, что выживают на соляных маршах, трепещут на летнем ветру, разлетаясь пухом семян, рябь на водах Рича...

Кейт он рисовал с истинной одержимостью. Вся мельница была буквально завалена набросками: Кейт ест, плавает, спит, играет... Позднее Амброуз стал рисовать нас с Теей и Фатимой; правда, он всегда спрашивал разрешения. Как сейчас, помню его хрипловатый серьезный голос (Кейт даже интонации унаследовала): «Не возражаешь, если я, хм, тебя слегка увековечу?»

Мы никогда не возражали. Хотя, может, и следовало бы.

Однажды, бесконечным летним днем, Амброуз взялся рисовать меня – за кухонным столом, со съехавшей бретелью сарафана, упершую подбородок в ладони, устремившую взгляд прямо на него. До сих пор помню, как солнце припекало мне щеку, каким приливом жара реагировало сердце на каждый мой взгляд, устремленный к Амброузу. И как искрило между нами в те моменты, когда Амброуз отрывался от наброска и наши взгляды встречались.

Набросок достался мне, но где он сейчас, я понятия не имею. Я почти сразу отдала его Кейт на хранение. В школьной спальне набросок было негде спрятать, показывать родителям и солтенским девочкам казалось невозможным – они бы все равно не поняли. Никто бы не понял.

Когда Амброуз пропал, сразу поползли слухи – о его прошлом, о давней наркозависимости, о том, что у него и диплома-то преподавательского не было. Но хрупким и звонким октябрьским утром я ничего об этом не знала. Понятия не имела ни о роли Амброуза в жизни нас четырех, ни о том, как ему самому аукнется наша дружба с его дочерью, ни о том, сколь долго будет рябить вода, утекающая с нашей первой встречи. Я тогда стояла в дверях, вцепившись в ремешок сумки, запыхавшаяся, и смотрела, как Амброуз Эйтагон сутулится над ученическим мольбертом. Вот он взглянул на меня своими синими-пресиними глазами, улыбнулся, пустив вокруг глаз и бородки лучики морщин, и произнес:

– Привет.

Затем отложил кисточку, вытер руки о фартук и добавил:

– Похоже, мы еще не встречались. Меня зовут Амброуз.

Я лишь рот открывала, словно рыба. Амброуз умел одним только взглядом уверить, что нет для него во всей вселенной человека дороже, чем тот, к которому он сейчас обращается. Умел создать впечатление, будто вы с ним наедине – и пусть комната полна людей.

– Я... меня зовут Айса. Айса Уайлд.

– А меня – Фатима, – пролепетала Фатима, уронив сумку.

Я заметила, что она тоже оглядывается с изумлением, точно Аладдин в пещере сорока разбойников. Еще бы – студия, полная сокровищ, так не походила на остальные школьные помещения.

– Фатима, Айса, – заговорил Амброуз, – я сердечно рад познакомиться с вами.

Он взял мою руку, но не пожал, как я ожидала, а стиснул мне пальцы, словно скрепил этим жестом нашу некую клятву. Руки у Амброуза были теплые и сильные, в складочки, в кутикулу намертво въелась краска: ясно было – ее не отмыть никакими щетками.

– А теперь, девочки, – Амброуз обвел студию широким жестом, – берите мольберты и кисти, проходите, усаживайтесь. Чувствуйте себя как дома.

И мы повиновались.

То, что уроки рисования кардинально отличаются от других уроков, мы поняли сразу. Во-первых, учителя всех называли по имени; во-вторых, ни одна из девочек не надевала на рисование ни блейзер, ни галстук.

– Катастрофа, если галстук тащится по вашей акварели, – пояснил Амброуз в тот первый день, почти заставив нас развязать наши «удавки».

Но дело было не только в предполагаемой порче рисунка. Дело было в свободе от формальностей. Снимая галстуки, мы словно получали возможность дышать; в остальное время на каждую из нас давила школьная уравниловка.

Несмотря на то, что буквально все девчонки были влюблены в Амброуза и пытались привлечь его внимание – расстегивали блузки, чтобы явить ему, склонившемуся над ученическим холстом, краешек бюстгалтера, – Амброуз оставался невозмутим. На занятиях он был настоящим профессионалом. Держал дистанцию – в прямом и в переносном смысле. Помню, как в самый первый день он подошел ко мне, заметив мою неравную борьбу с эскизом. Я тогда подумала: сейчас поступит, как моя прежняя учительница рисования, мисс Драйвер – та имела привычку привалиться к ученику сзади своим душным животом, обдать запахом пота. Амброуз, напротив, остановился в добром футе от меня, застыл, вдумчиво созерцая мои труды. Я его отлично видела в зеркальце, прикрепленном к мольберту, – мы рисовали автопортреты.

– Дерьмово получается, да? – спросила я с безнадёжностью в голосе. И тотчас прикусила язык, приготовившись к нотации за сквернословие.

Амброуз дурного слова будто и не разобрал. Он с прищуром смотрел на мою работу, едва ли замечая меня саму. Я протянула ему карандаш, ожидая, что он станет вносить исправления, как, бывало, делала мисс Драйвер. Рассеянно Амброуз взял карандаш, но бумаги им даже не коснулся. Зато он взглянул мне в лицо и серьезно сказал:

– Совсем не дерьмово. Но ты, Айса, в зеркало-то и не смотришь. Рисуешь наугад. Нужно смотреть; нужно всматриваться. В свое отражение. В себя.

Я отвернулась, попыталась сделать, как наставлял Амброуз. Всмотрелась в себя, вместо того чтобы пялиться на его лицо, на котором морской ветер и солнце оставили столь заметные следы. Ничего хорошего в зеркале я не увидела – только прыщики на подбородке, детскую припухлость щек да непослушные волосы, кое-как собранные резинкой.

– У тебя потому не получается, что ты рисуешь отдельные черты, а не личность. Ты, как и всякий другой человек, не являешься набором досадливых ужимок, которые выдают твоё недовольство собой. Лично я, глядя на тебя, вижу...

Амброуз замолчал, остановив взгляд на моем лице. Я ждала продолжения. Он смотрел так пристально, что мне больших усилий стоило не ерзать на стуле.

– Лично я вижу отважную девушку, – наконец выдал Амброуз. – Отважную и усидчивую. Я вижу девушку с тонкой внутренней организацией и силой, о которой она сама пока не догадывается. Я вижу в глазах этой девушки беспокойство, которое ей, впрочем, нет нужды испытывать.

Я вспыхнула. Слова, в устах любого другого нестерпимо банальные, у Амброуза прозвучали как простая констатация факта; вероятно, виной всему был хрипловатый голос.

– Вот и постарайся передать все это на бумаге, – сказал Амброуз.

Вернул мне карандаш и вдруг улыбнулся доверительно, широко. Сразу, словно нарисованные быстрой умелой рукой, проступили морщинки вокруг синих глаз.

– Нарисуй девушку, которую я в тебе разглядел, – добавил Амброуз.

Я не нашлась с ответом, только кивнула. До сих пор слышу его голос, так похожий на голос Кейт, – отрывистый, с дивной хрипотцой. «Нарисуй девушку, которую я в тебе разглядел». Тот эскиз у меня сохранился. На нем – девчонка, открытая миру; девчонка, которой нечего таить, кроме собственной ранимости. Одна беда: той девчонки, которую увидел Амброуз, в которую он поверил, больше нет на свете.

Может, ее никогда и не было.

Фрейя просыпается от моих шагов, хотя я крадусь на цыпочках. В комнате Люка (даже мысленно не могу назвать ее иначе) я пытаюсь убаюкать свою дочь. Тщетно. Приходится взять Фрейю в постель (в постель Люка). Кормлю лежа, опираюсь на локоть над маленьким компактным тельцем, столь хрупким, если противопоставить его моему весу.

Так мы и лежим – я и Фрейя. Смотрю на нее, жду, когда меня сморит сон; думаю об Амброузе... о Люке... о Кейт, которая живет совсем одна в разрушающемся доме, что мельничным жерновом повис у нее на шее. С завораживающей медлительностью дом погружается в дюны и тянет с собою упрямую Кейт, не желающую расстаться с этим бременем.

Дом поскрипывает на ветру, пошатывается. Переворачиваю подушку прохладной стороной кверху. Я должна бы думать об Оуэне – а думаю о прошлом, о долгих, томных летних днях, что мы проводили на мельнице. Мы пили, купались и хохотали; Амброуз все это зарисовывал, а Люк... Люк просто смотрел из-под своих тяжелых миндалевидных век.

Может, все потому, что я – в его комнате; но только ни разу за эти семнадцать лет воображение не рисовало мне Люка столь отчетливо. Призраки его личных вещей роятся надо мной, его простыни нежат мое тело, и я не могу отделаться от ощущения, будто сам Люк, во плоти, лежит рядом – такой теплый, такой долговязый, такой загорелый и растрепанный.

Наваждение до того реально, что в попытке его стряхнуть я не выдерживаю – поворачиваюсь, открываю глаза. Разумеется, мы с Фрейей здесь одни. Качаю головой.

До чего я докатилась? У меня, как и у Кейт, крыша едет, а расшатывают эту крышу призраки былого.

Но ведь была же одна давняя ночь, что я провела в этой постели!.. Голоса и прочие звуки преследуют меня, словно заело пластинку, словно она прокручивает все тот же трек.

Они все здесь: Люк, Амброуз, да и мы тоже – тонкорукые, гибкие девчонки, что смеялись без умолку до тех пор, пока дивное лето не завершилось катастрофой, заставив нас замереть в ужасе, а потом карабкаться дальше, применять ложь не ради забавы, а ради выживания.

В этом доме призраки нас прежних чуть ли не реальнее, чем три женщины, что спят этажом выше, этажом ниже, через стенку. Их присутствие осязаемо, и я вдруг понимаю, почему Кейт не в силах уехать.

Я почти сплю. Бессильно беру телефон – посмотреть, который час. Когда я возвращаю его на тумбочку, отсвет экрана падает на покособившийся пол, и я что-то замечаю. В щели между половиц белеет, рябит строчками уголок бумажного листа. Что это? Письмо, написанное Люком и потерянное, а может, спрятанное?

Сердце колотится, я будто вторгаюсь на территорию Люка (впрочем, отчасти так и есть), тяну за уголок и достаю бумагу из пыли и паутины. Сплетения линий говорят о том, что это – рисунок. При свете экрана толком не разберешь, а лампу включать я не хочу, иначе Фрейя проснется. Крадусь к открытому окну. Шторы колышет морской бриз, луна почти полная. Поворачиваю листок в лунных лучах.

Это эскиз, написанный акварелью. Девичий портрет. Возможно, изображена Кейт. Автор, скорее всего, Амброуз. Наверняка сказать не могу, и вот почему: портрет весь исчеркан черной ручкой, линии жирные, на лице – даже двойные и тройные. В них – злоба, столь отчаянная, что местами острие стержня прорвало бумагу. Некто выколол нарисованные глаза девушки – в чем не было нужды, ведь лицо и без того практически полностью замазано. Явная попытка вычеркнуть эту девушку из жизни, стереть из памяти, уничтожить полностью.

С минуту стою у окна, на ветру, пытаюсь понять, чья это работа. Люка? Нет, исключено. Люк никогда бы так не поступил – он любил Кейт. Может, свой портрет испортила сама Кейт? Исключено и это. Впрочем, как ни странно, в акт вандализма со стороны Кейт мне легче поверить.

Тщетно пытаюсь разгадать тайну эскиза, пропитанного яростью, но вдруг в окно врывается ветер и выхватывает бумагу из моих пальцев. Попытки поймать листок безуспешны: он порхает над матовым мутным Ричем, ложится на водную гладь, быстро намокает и тонет.

Что бы ни означал этот рисунок с девичьим лицом – его больше нет. Меня потряхивает, несмотря на духоту ночи. Ложусь в постель и невольно думаю: пожалуй, и к лучшему, что рисунок канул в воду.

После дня и вечера, столь насыщенных эмоциями, я должна бы провалиться в сон без сновидений – нет же. Сначала мне не дает расслабиться исчерканный портрет, затем я все-таки засыпаю, однако сны мои мрачны и запутанны, как коридоры Солтен-Хауса. Я бреду по этим коридорам, поднимаюсь по винтовым лестницам, ищу комнаты, которых в Солтене никогда не было, и, разумеется, не нахожу их. Впереди меня идет Кейт, я слышу ее голос, но не могу за ней угнаться. «Сюда, – говорит Кейт, – мы почти пришли». Ей отвечает жалобный крик невидимой во сне Фатимы: «Опять врешь!..»

А потом раздается лай Верного, я улавливаю звуки шагов и приглушенное: «Тише, Верный, тише». Хлопает дверь – значит, Кейт вывела пса на прогулку.

И снова тихо. Настолько, насколько может быть тихо в старом, кишасщем призраками доме, который из последних сил противостоит ветрам и приливам. В очередной раз я просыпаюсь от голосов, доносящихся снаружи, от громкого встревоженного шепота. Сажусь в постели, тру глаза. Что происходит? Утро. Солнце пробивается сквозь тонкую ткань занавесок, и моя Фрейя – словно в озерце света, ее ручки и ножки непроизвольно подрагивают. Она спит. Вдруг начинает хныкать, и я беру ее на руки, прикладываю к груди – но нашей идиллии мешают чужие голоса. Фрейя вскидывает головку, оглядывает комнату; кажется, больше всего ее смущает характер освещения. У нас в Лондоне летом, после полудня, свет ложится пыльными желтоватыми пластами. Здесь он ослепительно чист – до того, что больно глазам – и не знает ни минуты покоя. Блики от волн пляшут на потолке, на стенах – вся комната в движении.

И еще голоса... тихие, взволнованные голоса, оттеняемые по временам жалобным повизгиванием Верного.

Наконец я не выдерживаю. Заворачиваю Фрейю в одеяльце, набрасываю халат, босиком иду вниз по деревянной лестнице, осторожничая на изъеденных временем ступенях. Дверь, выходящая в сторону суши, распахнута, снаружи льется свет – но еще прежде, чем я преодолеваю последний лестничный виток, мне ясно: случилось что-то плохое. Так и есть: плиточный пол залит кровью.

Замираю на ступенях, стискиваю Фрейю, прижимаю к груди, словно такая близость способна унять болезненное сердцебиение. Фрейя пищит, и лишь тогда я соображаю: мои пальцы впились ей в пухлые ножки. Ослабление хватки требует усилий – это было инстинктивное движение, и приходится задействовать волю. Между тем я уже ступила на окровавленный пол.

Только теперь я вижу: это не просто пятна крови. Это следы от окровавленных собачьих лап. Собака у нас одна – Верный. Следы идут от входной двери, делают круг по комнате и удаляются из дому, словно Верного поспешно выгнали.

Голоса доносятся снаружи, со стороны суши. Влезаю в сандалии и выхожу, шурясь от солнца.

Кейт и Фатиму я вижу со спины; Верный сидит рядом с Кейт, тихонько, тоскливо подвывает. Накануне Верный разгуливал свободно – сейчас он в ошейнике, и тонкая рука Кейт сжимает короткий поводок.

– Что случилось, девочки?

Кейт с Фатимой оборачиваются. В следующее мгновение Кейт делает шаг в сторону, и моему взору предстает нечто доселе скрытое. Моя ладонь зажимает рот, я сглатываю, а когда вновь обретаю дар речи, голос у меня дрожит:

– Господи. Она что... мертвая?

Дело не в самом факте – мне и раньше доводилось видеть мертвые тела; дело в эффекте неожиданности, в несоответствии кровавого месива сине-золотому, восхитительному летнему утру. Шерсть влажная – наверное, ее промочил прилив; кровь медленно стекает в черные щели мостков, пропитывает глинистую отмель. Прилив успел отхлынуть, остались только лужицы, а крови достаточно, чтобы окрасить воду в цвет ржавчины.

Фатима мрачно кивает. Прежде чем покинуть стены дома, она не забыла надеть хиджаб и выглядит сейчас как женщина-врач тридцати с хвостиком лет – а не как вчерашняя девчонка-школьница.

– Мертвее не придумаешь, – говорит Фатима.

– Но... но почему... как?.. – мямлю я, не в силах спросить прямо: «Кто?»; между тем мой взгляд устремляется к Верному.

Морда у него вымазана кровью. Привлеченная запахом, на окровавленный собачий нос присаживается муха. Верный взвизгивает, мотает головой. Муха улетела; длинный розовый язык вывалился из пасти в попытке слизнуть липкую мерзость.

Хмурая Кейт пожимает плечами:

– Понятия не имею. Наверняка не мой Верный – он сам как ягненок, хотя... хотя чисто физически он мог бы... Да, он мог бы.

– Но как же?..

Прежде чем мой невнятный вопрос тает в воздухе, взгляд успевает метнуться от мостков к изгороди. Калитка открыта.

– Вот черт!

– То-то и оно. Если бы я только знала, никогда бы его не выпустила.

– Кейт, милая! Мне так жаль! Наверное, это Тея открыла...

– Ну-ка, ну-ка – что конкретно открыла Тея?

Оборачиваюсь на заспанный голос. Тея, взъерошенная, с неприкуренной сигаретой в пальцах, жмурится на пороге мельницы.

– Тея, я в том смысле, что... – осекаюсь, переступаю с ноги на ногу.

Я и правда не думала валить все на Тею – как бы ни прозвучало мое предположение.

Внезапно Тея видит кровь, израненную плоть, мокрую шерсть.

– Черт. Что случилось? При чем тут я?

– Кто-то оставил калитку открытой... – Голос у меня затравленный. – Я совсем не имела в виду, что...

– Неважно, кто не закрыл калитку, – резко обрывает Кейт. – Виновата я. Я должна была проверить все запоры, прежде чем выпускать Верного.

– Это что, твой пес сделал, да?

Тея, бледная, как полотно, пятится от труп, от Верного, от его окровавленной морды.

– Господи боже.

– Мы не знаем, – коротко поясняет Кейт.

Вид у Фатимы перепуганный, и мысль ее мне ясна: если не пес это сделал – тогда кто?

– Пойдемте отсюда, – говорит Кейт.

От ее резкого поворота с кишок, вываленных на мостки, срывается стая мух – чтобы через мгновение вернуться к пиршеству.

– Пойдемте в дом, – продолжает Кейт. – Надо обзвонить фермеров – может, кто овцы недосчитался. Черт. Только этого нам не хватало.

Пояснения мне не нужны. Дело не только в овце, не только в том, что созерцать растерзанный овечий труп втрое тяжелее с похмелья. Дело в зловонии, которое пропитало воздух. В крови, которая отравила морскую воду, сделала ее мерзкой, враждебной для нас. Сама смерть взяла курс на мельницу.

Фермера, недосчитавшегося овцы, Кейт находит лишь с четвертого или пятого звонка. Затем ждет. Она цедит кофе, старается абстрагироваться от мушиного жужжания над трупом – жужжания, которое слышно даже через закрытую дверь. Тея отправилась досыпать, мы с Фатимой заняты Фрейей – поджарили для нее тост. Фрейя, конечно, его не ест – только делает вид.

Кейт меряет шагами комнату; мечется, словно тигрица в клетке, подходит то к окну, выходящему на Рич, то к подножию лестницы; без конца, до мельтешения в глазах, повторяет маршрут. Она курит самокрутку – дрожь пальцев, а значит, и весь настрой, заметны лишь по вибрациям этой самокрутки в тонких пальцах.

Внезапно Кейт дергает головой, и вместо тигрицы я вижу собаку – чуткую, настороженную собаку. Мгновением позже звук, от которого Кейт так встрепелась, доходит и до меня. Это – шорох автомобильных шин. Кейт выскакивает из дому, закрывает за собой дверь. Снаружи рокошет чужой недовольный голос, полупшепотом извиняется бедная Кейт.

– Простите, пожалуйста. Мне так неловко... Что? В полицию?..

Фатима не выдерживает:

– Как думаешь, Айса, нам выйти?

– Даже не знаю... – Мои пальцы теребят оборку халата. – Этот фермер... он вроде не очень зол. Может, Кейт сама разберется?

Фатима держит Фрейю на руках. Подхожу к окну. Кейт с фермером нависли над мертвой овцой. Фермер и впрямь не столько рассержен, сколько опечален. Кейт кладет ему руку на плечо – жест утешительный, не объятие, нет – но что-то близкое к объятию. Впрочем, Кейт сразу отдергивает руку. Слов фермера не разобрать. Вдвоем они берут злосчастную овцу за ноги, тащат по мосткам и бесцеремонно забрасывают в кузов фермерского пикапа.

– Сейчас принесу деньги, – произносит Кейт.

Фермер закрепляет задний борт. Кейт поворачивается к дому, в пальцах у нее на миг мелькает нечто маленькое, окровавленное – мелькает и исчезает в кармане.

Отшатываюсь от окна. Успеваю прежде, чем открывается дверь; прежде, чем, встряхивая головой, словно стараясь отделаться от дурного впечатления, входит Кейт.

– Все в порядке? – спрашиваю я.

– Не знаю. Вроде того.

Кейт моет окровавленные руки, затем делает шаг к комоду, где лежит кошелек. Открывает отделение для купюр, заглядывает. Выдыхает:

– Вот черт!

– Наличные нужны? – поспешно спрашивает Фатима.

Поднимается, передает мне Фрейю.

– Подожди, сейчас принесу. Моя сумка в спальне.

– Я тоже участвую. Сколько нужно?

Хорошо, что и я могу помочь Кейт.

– Сотни две, – вполне спокойно отвечает Кейт. – Овца, конечно, столько не стоит, но хозяин вправе вызвать полицию, а мне это не нужно.

На лестнице появляется Фатима с сумочкой.

– Вот, у меня есть сто пятьдесят. Еще на Гемптон-Ли, когда заправлялась, вспомнила, что в Солтене банкомат днем с огнем не сыщешь, и сняла с карты немного нала.

– Нет, половина – с меня.

Одной рукой удерживая на плече Фрейю, достаю из сумки, которую оставила болтаться на лестничной подпорке, тугой кошелек.

– У меня достаточно денег, Кейт. Возьми, пожалуйста.

Достаю пять хрустящих двадцаток, причем Фрейя, развеселившись, пытается ухватить каждую из них. Фатима добавляет сотенную купюру. От Кейт нам достается короткая, печальная улыбка.

– Спасибо, девочки. Я отдам, как только мы до Солтена доберемся, – на почте есть банкомат.

– Не надо отдавать, – возражает Фатима.

Но Кейт уже закрыла за собой дверь, ее голос доносится от пикапа. Фермер что-то бурчит, забирая деньги. Затем слышится шорох шин. Пикап удаляется, увозит с мельницы растерзанную овцу.

Кейт возвращается бледная, но с выражением облегчения на лице.

– Слава богу. Теперь едва ли он в полицию станет звонить.

– Но ты ведь не на Верного думаешь? – уточняет Фатима.

Кейт молча подходит к раковине, снова моет руки.

– У тебя кровь на рукаве, Кейт, – говорю я.

– И правда. – Кейт оглядывает свою одежду. – Откуда только в этой старой овце столько кровищи?

Улыбается она криво – понятно, о чем вспомнила. О мисс Винчельси, о пьесе «Макбет», в которой так и не сыграла. Кейт передергивает плечами, сбрасывает жакет прямо на пол, подставляет под кран ведро.

– Помочь? – спрашивает Фатима.

Кейт отрицательно качает головой:

– Нет, не надо. Пойду ополосну мостки, а потом приму ванну. Я такая грязная, просто ужас.

Еще бы. Даже у меня ощущение, будто я пропиталась запахом свежей крови, а ведь не я, а Кейт помогала фермеру тащить мертвую овцу.

От стука закрываемой двери я вздрагиваю. Слышно, как Кейт разом выплескивает воду из ведра на мостки, как метет веником по доскам.

Укладываю Фрейю в коляску.

– Как думаешь, Айса, это пес овцу загрыз?

Фатима говорит шепотом. Пожимаю плечами. Одновременно смотрим на Верного, пристроившегося на коврикe возле холодной печи. Вид у него несчастный и пристыженный, в глазах тоска. Под нашими взглядами Верный вздрагивает, вновь принимается облизывать морду розовым языком, недоуменно поскуливает. Чует: что-то не так.

– Трудно сказать, – отзываюсь я.

Одно ясно: я никогда не оставлю Фрейю наедине с этим псом.

Жакет Кейт так и валяется на полу. Меня охватывает внезапное желание помочь, хотя бы в мелочи.

– Слушай, Фати, не знаешь, есть у Кейт стиральная машина?

Фатима озирается по сторонам.

– Неа. Помнишь, в Солтен-Хаусе она всегда сдавала одежду в общую стирку? Кстати, и Амброуз стирал свои вещи сам, прямо в раковине. А что?

– Да вот, хотела постирать жакет. Наверное, лучше сначала его замочить?

– Ага, замочи, только в холодной воде. Тогда кровь быстрее отойдет.

Поскольку стиральной машины нигде не видно, я затыкаю раковину пробкой, пускаю холодную воду, поднимаю с пола жакет. Разумеется, перед замачиванием нужно проверить карманы – что я и делаю. Лишь когда мои пальцы нащупывают нечто мягкое, склизкое, я вспоминаю о предмете, который Кейт столь торопливо сунула в карман там, на мостках.

Предмет – бесформенный комок – оказывается в моих пальцах. Невольно вскрикиваю от отвращения и спешу сунуть руку под кран. Комок, подобно лепестку, разворачивается в холодной воде, скользит на дно раковины.

Не знаю, чего я ожидала – но только не этого. В моих руках – записка, розовый от крови клочок бумаги с оборванными краями, с расплывшимся, но все еще читабельным текстом. Вот что нацарапано шариковой ручкой:

Может, и ее в Рич кинешь, а?

Чувство, меня охватившее, совершенно ново. Это паника – полная, абсолютная. С минуту я стою словно каменная, не в силах не только говорить, но даже дышать. Кровавая вода омывает мои пальцы, сердце бьется о ребра, щеки краснеют от раскаяния и страха.

Кто-то что-то выведет. Кому-то что-то известно.

Мой взгляд обращается к Фатиме – та уткнулась в мобильник, вероятно, пишет сообщение Али. Открываю рот, но по велению внутреннего голоса тотчас закрываю. Пальцы без моего ведома, сами собой, терзают, рвут бумажный комок, впиваются ногтями в ладони, и скоро с запиской покончено, ни единого слова не уцелело. Свободной рукой выдергиваю из раковины пробку, и розовая вода устремляется в сточное отверстие вместе с запиской. Я включаю кран и смываю в канализацию все следы, все обрывки, все волокна, способные послужить уликами против нас.

И вот их нет, словно никогда и не было.

Мне просто необходимо выйти на воздух.

Кейт все еще в ванной, Тея спит, Фатима включила ноутбук и проверяет почту; ее силуэт отчетливо выделяется на фоне окна.

Фрейя сидит на полу. Пытаюсь играть с ней – тихонько, чтобы не мешать Фатиме. Раскрыла любимую тактильную книжку дочки, читаю полупшепотом. Дети в книжке затеяли прятки. Но я то и дело забываю перевернуть страницу, и Фрейя хлопает по ней ладошкой, возмущается: мол, что же ты, мама?

– А где у нас малыш? – шепчу я, однако подпустить в тон загадочности не получается – может, потому, что Верный все так же лежит на своем коврикe, облизывает морду длинным языком. У меня только одно на уме: схватить дочь и унести ее из этого дома.

Снаружи доносится стрекотанье кузнечиков, а из головы не идут овечьи кишки на мостках. Открываю в книжке очередное окошечко, в котором застыла нарисованная детская мордашка, – и вижу нечто страшное. Прямо за чудесной, восхитительной, самой сладкой в мире ножкой Фрейи таится острая щепка, отколовшаяся от половицы.

Место, где я когда-то с таким наслаждением полуночичала, теперь полно угроз.

Резко встаю, хватаю Фрейю, которая от неожиданности икает. Книжка из ее ручонки падает на пол.

– Фати, я пойду прогуляюсь.

Фатима отвлекается от ноутбука:

– Ага, иди. Куда направишься?

– Еще не решила. Может, в деревню.

– До нее же почти четыре мили!

подавляю внезапное раздражение. Мне и без Фатимы отлично известно, сколько миль до Солтена. Я тоже не раз преодолевала это расстояние.

– Ничего, мне полезно пройтись, – говорю я спокойно. – Обувь подходящая, коляска прочная. Обратно на такси можно вернуться.

– Ну, раз ты уверена... Приятной прогулки, Айса.

– Спасибо, мамуля.

В этой фразе прорывается мое раздражение. Фатима выдавливает улыбку.

– Что, и правда так получилось? Прости. Честное слово, не стану напоминать тебе про пальто и про пи-пи на дорожку.

Прыскаю смехом. Принимаюсь устраивать Фрейю в коляске. Фатиме всегда удавалось рассмешить меня, а можно ли сердиться, когда смешно?

– Насчет пи-пи совет совсем нелишний, Фати, – соглашаюсь я, обуваясь. – Мышцы тазового дна уже не те, что раньше.

– Кому-кому, а мне можешь не рассказывать, – рассеянно отзывается Фатима, щелкая по клавиатуре. – Доктор Кегель⁴ в помощь. Сжимайся!

Снова смеюсь. Выглядываю в окно. Солнце шлифует воды Рича, над дюнами поблескивает марево. Не забыть намазать Фрейю защитным кремом. Куда я его дела?

– Он в пакете с умывальными принадлежностями, – произносит Фатима – не очень внятно, ведь между зубов она держит карандаш.

Вздрагиваю.

– Что ты сказала?

– Услышала, как ты бормочешь «Где защитный крем?». Увидела, как роешься в детской сумке. Вспомнила, что натыкалась на тюбик в ванной.

Боже, неужели я крем вслух упомянула? Точно крыша едет. Расслабилась в отпуске по уходу за ребенком, начала сама с собой разговаривать, озвучивать свои мысли, привыкнув, что дома никого нет. Становится не по себе. Что еще я выболтала?

– Спасибо, Фати. Будь добра, пригляди минутку за Фрейей, пока я в ванную сбегаю.

Фатима кивает. Спешу в ванную, топая по ступеням.

Дверь заперта изнутри. Лишь дернув за ручку, вспоминаю: Кейт все еще моется.

– Кто там?

Голос приглушен дверью, но усилен эхом.

– Извини, Кейт, мне нужен защитный крем для Фрейи. Можешь передать?

– Сейчас открою, сама возьмешь.

Слышится плеск воды. Щелкает задвижка. Кейт опускается обратно в ванну.

– Заходи, Айса.

Приоткрываю дверь, однако осторожничаю напрасно. Кейт успела скрыться в мыльной пене, видна только голова с небрежным пучком волос да длинная, стройная шея.

– Извини за вторжение. Я быстро.

– Валяй.

Кейт поднимает из пены ногу и берется за бритвенный станок.

– Зря я вообще заперлась. Ничего принципиально нового ты все равно здесь не увидишь.

Гулять пойдешь, да?

– Да. Может, в Солтен наведаюсь. Пока не знаю.

– В Солтен? Тогда возьми мою кредитку, сними пару сотен, чтобы я вам с Фатимой долг отдала.

Я давно отыскала крем и вот стою, верчу крышечку.

– Кейт, послушай... я... мы с Фатимой... мы вовсе не потому... в смысле, не надо...

Господи, до чего же неловко. Кейт всегда была такой щепетильной. Что, если она обидится? Как сказать, что в таких обстоятельствах – с поломанной машиной, с домом, который медленно поглощает море, – ей нельзя разбрасываться сотенными купюрами, а мы с Фатимой не обеднеем?

⁴ Американский гинеколог середины XX века.

Старательно подбираю слова – и вдруг в сознании происходит вспышка. Так случается, когда шарнешь в сумке и натыкаешься пальцем на булавочное острие. Булавка болтается на дне бог знает с каких времен, укол подобен щелчку, который включает память. Иными словами, я вдруг вижу окровавленный бумажный комок.

Может, и ее в Рич кинешь, а?

К горлу подступает тошнота.

– Кейт, – вымучиваю я, – что на самом деле произошло? Что случилось с твоей собакой?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.